

32662

23
Женрих Фейне



пруссачестве



ОГЧЗ
ГОСЛИТИЗДАТ



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

О ПРУССАЧЕСТВЕ



Под редакцией и с предисловием
Я. М. МЕТАЛЛОВА

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1944

Вряд ли найдётся в мировой литературе поэт, к которому фашисты исполнены были бы такой лютой и злобной ненависти, какую они питают к Генриху Гейне. Эта ненависть — лучшее доказательство того, в какой мере Г. Гейне и после своей смерти страшен чёрным силам германской реакции.

Генрих Гейне (1797—1856), один из величайших поэтов мировой литературы, жил и творил в годы, когда в раздробленной Германии господствовала неограниченная власть реакционного дворянства и духовенства. Реакционные правители 36 немецких «отечеств», из которых состояла в ту пору Германия, держали народные массы в страшном угнетении. В то время как Франция после 1789 года шла от одной революции к другой, в ту пору как Англия давно уже добилась многих гражданских свобод, Германия продолжала коснеть в полуфеодальном рабстве. Только в 1848 году произошла, наконец, долгожданная немецкая революция, поворно проваленная буржуазией, шедшей на поводу у дворянско-католической реакции.

Генрих Гейне всей своей поэтически одарённой, гуманной и свободолюбивой натурой ещё в юности возненавидел реакцию, деспотизм, а в особенности тупой, патриархально-самодовольный, специфически немецкий национализм. Унаследовав от французской буржуазной революции 1789 года пламенную веру в человека, поэт страстно мечтал о раскрепощении человечества, о наступлении «золотого века», когда в мире будут господствовать красота и свобода.

Уже в первом, вышедшем в 20-е годы прошлого столетия лирическом сборнике поэта, его знаменитой «Книге песен», явственно слышится тоска по светлой

дружно кричать «И-а, и-а», что бы им ни возглашали их повелители.

Особой ненавистью фашистов пользуется поэма «Германия» — вершина поэтического творчества Гейне. Запечатлев с исключительным мастерством и правдивостью личные переживания поэта, его любовь к матери, к друзьям детства, тоску по родным местам, поэма вместе с тем с беспощадной резкостью и глубиной показывает отвратительное убожество реакционно-филистерской Германии с её заносчивыми правителями — тевтономанами, которые только и бредят войной. Поэма рисует Германию прусской военщины, палочной дисциплины, патриархальной грубости и подлеишего пресмыкательства «всетерпеливого» немецкого верноподданного, рабски послушного своим правителям.

Не менее ненавистна гитлеровским палачам глубокая вера поэта в то, что рано или поздно тирания в Германии будет уничтожена. Воистину пророчески звучат слова, обращённые поэтом к немецким националистическим изуверам, которых он насмешливо прозвал «сверхгерманскими шутами»: «День придёт, и роковая пята раздавит вас. С этой уверенностью я могу спокойно уйти из этого мира».

Фашисты — эти «сверхгерманские шуты» от империализма — в первые же дни прихода к власти сожгли на костре все произведения Гейне. Могила Гейне, умершего в эмиграции в Париже, в настоящее время «оккупирована» фашистскими вандалами. Но и из глубины своей могилы великий поэт продолжает с огненным сарказмом высмеивать и бичевать «сверхгерманских шутов» и предрекать их неизбежную гибель.

Я. МЕТАЛЛОВ



I

ОБОРОТЕНЬ

Дитя с башкою, как арбуз,
Коса седая, рыжий ус,
С пауچه-длинной, но цепкой ручонкой,
С огромным желудком, с кишкою тонкой,
Подкидыш, которого некий капрал
Подбросил нам, когда украл
Наше дитя из колыбели, —
Ублюдок, что для гнусной цели
С борзой любимой, говорят,
Был содомитом старым зачат,
Нет нужды мне назвать вам гада, —
Но утопить иль сжечь его надо.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДНЯХ ТЕРРОРА В КРЕВЦНКЕЛЕ²

«Мы, бургомистр, и наш сенат,
Блюдя отечески свой град,
Всем верным классам населенья
Сим издаём постановление.

Агенты-чужеземцы суть
Те, кто средь нас хотят раздуть
Мятеж. Подобных отщепенцев
Нет среди местных уроженцев.

Не верит в бога этот сброд;
А кто от бога отпадёт,
Тому, конечно, уж недолго
Отпасть и от земного долга.

Покорность — первый из долгов
Для христиан и для жидов,
И запирают пусть поране
Дарьки жида и христиане.

Случится трём сойтись из вас, —
Без споров разойтись тотчас.
По улицам ходить ночами
Мы предлагаем с фонарями.

Кто смел оружие сокрыть —
Обязан в ратушу сложить,
И всяких видов снаряженье
Доставить в то же учрежденье.

Кто будет громко рассуждать,
Того на месте расстрелять;
Кто будет в мимике замечен,
Тот будет также изувечен.

Доверьтесь смело посему
Вы магистрату своему,
Который мудро правит вами;
А вы помалкивайте сами».

ИЗ НАБРОСКОВ К «АТТА ТРОЛЛЮ»

Соломон царице Савской
Твёрдый преподнёс орешек.
Он своей супруге верной
Переслал со мной загадку.

«Кто подлец наипервейший
Средь германских подлецов,
Среди всех, кто населяет
Тридцать шесть держав германских?»

Сто имён ему с тех пор
Уж царица отослала.
Царь в ответ упорно пишет!
«Нет, голубка, он не первый!»

И царица чуть не плачет.
Хоть 'её посланцы рыщут
Вдоль по всей земле германской,
Всё ж ответ ещё за нею.

Но едва она кого-то
Первым подлецом объявит,
Соломон ей пишет снова:
«Нет, голубка, он не первый!»

«Милый друг! — ему я молвил, —
Долго будет Балкаиза
Биться тщетно, присуждая
Немцу лавры подлеца.

Ведь в моей отчизне подлость
Прогрессирует гигантски:
На венец из грязных лавров
Слишком много претендентов.

Там вчера ещё ***
Обер-подлецом казался,
Нынче по сравненью с ***
Стал он унтер-подлецом.

Завтра ж назовут газеты
Архи-подлеца, который
Даже нашего***
Переподличать сумеет».

Н О В Ы Й А Л Е К С А Н Д Р :

I

Есть в Фуле король. От шампанского он
Пускает слезу неизменно.
Лишь только выпьет шампанского он —
И море ему по колено.

И рыцарский созвав синклит,
Пред всей исторической школой
Тяжёлым языком бубнит
Властитель развесёлый!

«Когда Александр, македонский герой,
С немногочисленной ратью
До Индии прошёл войной,
Он пить созвал всю братью.

Так жажда мучила его
В походах от боя до боя,
Что запил он, правднуж торжество,
И помер от запоя.

Вот я — мужчина покрепче, друзья,
И дело продумал до точки:
Чем кончил он, тем начал я —
Я начал с винной бочки.

Когда хлебнёшь, к боевому венцу
Быстрее находишь дорогу;
За чаркой — чарка, и, смотришь, к концу
Весь мир покорён понемногу».

II

Сидит наш второй Александр и врёт
Среди одурелого клира;
Герой продумал наперёд
План покоренья мира.

«Эльзас-лотарингцы нам свояки.
Зачем тащить их силой?
Ведь сами идут за коровой телки
И жеребец за кобылой.

Шампань! Вот эта страна мне милей —
Отчизна винограда!
Чуть выпьешь — в голове светлей!
И на душе отрада.

Там ратный дух мой пробудится вновь —
Я в битвах смел и пылок!
И хлопнут пробки, и белая кровь
Польётся из бутылок.

И мощь моя брызнет пеной до звёзд,
Но высшую цель я вижу:
Хватаю славу я за хвост.
И — полным ходом к Парижу!

Там будет отдых — решено!
Ведь на заставе, у арки,
Без пошлины пропускают вино
Какой угодно марки.

III

Наставник мой, Аристотель мой,
Был попик, но не в Париже,
А в дальней колонии. Он носил
На курточке белые брыжи.

Он как философ являл собой
Всех антитез сочетанье,
И по своей же системе — увы! —
Он дал мне воспитанье.

Ни рыба, ни мясо — двуполым я стал,
Ни женщина, ни мужчина!
Из диких крайностей наших дней
Дурацкая мешанина.

Я не хорош, но я и не плох,
Ни глуп, ни умён (понятно),
И если сделал шаг вперёд, —
Тотчас иду обратно.

Я просвещённый обскурант,
Ни жеребец, ни кобыла,
В любви к Софоклу и кнуту
Равно исполнен пыла.

Господь Иисус мой надёжный оплот,
И Вакх у меня не в загоне.
Так два антитезные божества
Слились в единой персоне».

Вот это сир Лудвиг Баварской земли,
Таких у нас немного;
Баварский народ в нём чтит короля
По высшей милости Бога.

Он любит искусство, чтоб с лучших дам
Портреты рисовали;
Как евнух искусства, гуляет он
В своём расписном серале.

У Регенсбурга он воздвиг
Из чистого мрамора клетки,
И высочайше для всех голов
Он пишет там этикетки.

«Валгалльское братство» — прекрасная вещь!
Означены здесь пространно
Заслуги, характер, поступки всех,
От Тевта до Шиндерганна.

И только упрямца Лютера нот, —
У них он не в почёте;
Вот так и в музее в отделе рыб
Кита вы не найдёте.

Сир Лудвиг — это великий поэт;
Раздастся в этих Валгаллах
Песня его, — и вскричит Аполлон:
«Молчи! Не то я пропал, — ах!»

Сир Лудвиг — это храбрый герой,
Герой и сынишка Оттончик,
У этого был в Афинах понос,
Слегка замаран трончик.

И сира Лудвига к лику святых
Причтёт по смерти папа,
И венчик так же пойдёт ему,
Как нашей кошке шляпа.

Когда ж христианство примут у нас
И кенгуру с гиббоном,

Тогда, конечно, святой Людовик
Будет у них патроном.

2

Сир Лудовик Баварских земель
Сказал, однако, вздыхая:
«Уходит лето, идёт зима,
Листва уж совсем сухая.

И Шеллинг, и этот Корнелиус
Пускай уходят разом;
Погасла фантазия у одного,
А у другого — разум.

Но вот, что украдена из венца
Одна из светлейших жемчужин —
Похитили Масмана у меня,
Гимнаста, который мне нужен, —

Вот это сломило, согнуло меня:
Какой человек украден!
Ведь этот муж в искусстве своём
До высших долез перекладин!

О, где же короткие ножки его?
У носа бородавки?
Как пудель, он быстро-бодро-свежо
Кувыркался на травке.

Лишь старонемецкий он знал, патриот,
Лишь цейнский, лишь якобо-гриммский;
Чуждался он иностранных слов,
Особенно греческих, римских.

И желудёвое кофе одно
Исконно потреблял он,
Французов он грыз и лимбургский сыр,
Последним также вонял он.

О шурин! Отдай мне его назад!
Потому что личность эта
Так же похожа на всех людей,
Как я похож на поэта.

О шурин! Шеллинг пускай за тобой,
Корнелиус, хоть и не дурен,
Бери его (Рюккерт не нужен мне), —
Отдай мне Масмана, шурин!

О шурин! Довольствуйся тем, что меня
Ты нынче затмил собою;
В Германии был я первым всегда,
А нынче вторым, за тобою...»

3

В придворной мюнхенской церкви стоит
Прелестная мадонна:
Исусик спит на руках у неё —
Небес и земли оборона.

Когда Лудовик Баварских земель
Увидит святую икону,
В восторге клонится он перед ней,
Лепечет, молит мадонну!

«Мария, о ты, королева небес,
Принцесса, чище лилеи!
Свита твоя состоит из святых,
Из ангелов — лакеи.

Пажи крылатые служат тебе,
Вплетают веночки в пряди
Волос золотых и шлейфы одежд
Несут за тобою сзади.

Мария, чистая звезда,
Лилея без пятен и тени,
Ты столько уже явила чудес
И благостных откровений, —

О, пусть от источника благ твоих
Мне капля прольётся худая!
Яви мне знак своих щедрот,
Высокоприсносвятая!»

И видно: задвигался ротик в ответ,
Приходят в движенье ножки,
И богоматерь трясёт головой,
Обращаясь к спящему крошке:

«Как хорошо, что не в брюхе ты,
А на руках, Иисусе,
И счастье, что страхов и разных примет
Я больше не боюсь.

Когда б посмотрела беременной я
На этого идиота,
Тогда бы, наверное, я родила
Не бога, — обормота».

Г А Н С Б Е З З Е М Е Л Ь Н Ы Й :

Прощался с женой безземельный Ганс!
«Я призван к высокой заботе!
На поле ином, иных козлов
Придётся мне бить на охоте.

Возьми мой охотничий рог — на нём
Подудишь и разгонишь ты скуку;
Ведь дома ещё на почтовом рожке
Играть ты постигла науку.

И пса моего я оставляю тебе,
Он в замке сторож примерный;
Меня ж охранит мой немецкий народ,
Собачьему нраву верный.

Они предлагают мне царский венец!
Любви их — не сыщешь мерки!
Портрет мой носят они на груди,
На трубке и табакерке.

Великий, немцы, вы народ —
Из дурней, но в деле споров!
Никак не скажешь, глядя на вас,
Что выдумали вы порох.

Я не император вам буду — отец,
И к счастью внесу вас из праха.
О дивная мысль! Я горд от неё,
Как если б был матерью Гракхам.

Не разумом буду, а только душой
Народом моим я править!
Не дипломат я и не могу
В политике всякой лукавить.

Ведь я — охотник, природы сын,
В лесу я постиг все науки —
Средь серн и вальдшнепов, коз и свиней;
Мне чужды словесные штуки.

Не стану печатать я громких афиш
И лозунгов в виде приманки;
Скажу я: народ мой, лососей нет —
Довольствуйся ж ныне таранкой.

И если плохой я монарх — замени
Паршивцем ты первым встречным;
Мне хватит и без тебя на прокорм —
В Тироле я всем обеспечен.

Вот так скажу я: простимся, жена, —
Нельзя мне больше мешкать;
От тестя прибыл уже почтальон,
Стоит наготове тележка.

Дорожную шапку живее давай
При чёрно-золото-красном банте;
В венце ты скоро увидишь меня
И в древней кесарской мантии.

Да, ты в плювиале увидишь меня —
До пяток в пурпуре ярком;
Императору Отто некогда был
Он от султана подарком.

Далматику я надену под ним,
Каменьями штую всюду, —
Там выткано много чудесных зверей,
И львы, и также верблюды.

И ризой грудь я покрою свою
С эмблемою почётной:
На жёлтом поле чёрный орёл, —
Наряд отменно добротный.

Прощай! Потомство скажет, что я
По заслугам был коронован.
Как знать? А может, потомство как раз
Обо мне не скажет ни слова.

ОСЛЫ-ИЗБИРАТЕЛИ

Свобода наскучила в данный момент.
Республика четвероногих
Желает, чтобы один регент
В ней правил вместо многих.

Звериные роды собрались,
Листки бюллетеней писались;
Партийные споры начались,
Интриги завязались.

Стояли Старо-Ослы во главе
Ослиного комитета;
Носили кокарды на голове
Чёрно-красного с золотом цвета.

Была ещё партия жеребцов,
Но та голосов не имела;
Боялась свирепых Старо-Ослов,
Кричавших то и дело.

Когда ж кандидатом коня провёл
По спискам один избиратель,
Прервал его серый Старо-Осёл
И крикнул ему: «Ты — предатель!

Предатель ты! И крови осла
Ни капли в тебе не струится;
Ты не осёл! Тебя родила
Французская кобылица.

От зебры род, должно быть, твой,
Ты весь в полоску, как зебра,
И голоса тембр у тебя носовой,
Как голос еврея, негра.

А если ты и осёл, то всё ж
Осёл от разума, хитрый.
Ты глуби ослиной души не поймёшь,
Её мистической цитры.

Но я, я всею душой вошёл
В сладчайший этот голос;
Я есмь осёл, мой хвост — осёл,
Осёл — мой каждый волос.

Я не из римлян, не славянин,
Я из ослов немецких,
Я мыслящих предков храбрый сын,
И кряжистых и молодецких.

Они не играли в *galanterie* *
Фривольными мелочами,
И быстро-бодро-свежо, раз-два-три,
На мельницу шли с мешками.

Отцы не умерли! В гробах
Одна лишь кожа с мехом —
Их тленная риза! Они в небесах
Приветствуют нас со смехом.

Ослы блаженные, в нимбе венца!
Мы следовать вам клянёмся,
С путей добродетели до конца
Ни на волос не собьёмся.

О, что за блаженство быть ослом!
Таких длинноухих сыном!
Со всех бы крыш кричать о том!
Рождён я в роде ослином!

Большой осёл, что был мне отцом,
Он был из немецкого края;
Ослино-немецким молоком
Вскормила нас мать родная.

Я есмь осёл, из самых ослов,
И всею душою и телом
Держусь я старых ослиных основ
И всей ослятны в целом.

И мы свой ослиный совет даём:
Осла на престол поставить;
Мы осломонархию оснуём,
Где только ослы будут править.

Мы все здесь ослы! И-а! И-а!
От лошадей свобода!
Долой коня! Виват! Ура!
Король ослиного рода!»

* Учтивость (франц.).

Так кончил патрлот. И зал
Оратору дружно хлопал.
Тут каждый национальным стал
И бил копытом об пол.

Дубовый венок на его главу
Потом возложило собрание,
И он благодарил толпу,
Махая хвостом в молчаньи.

КОРОЛЬ ДЛИННОУХ!

При избраньи короля, — как не понять того, —
Ослы составили, конечно, большинство.
И осёл торжественно был выбран королём.
Послушайте, что хроника гласит о нём:

Осёл коронованный, на трон воссев,
Решил, что он — настоящий лев.
Он шкуру львиную набросил на плечи
И ревел по-львиному, произнося речи.
С конями одними имел он общенье,
Чем вызвал у старых ослов раздраженье.
Бульдоги и волки вошли в его рать, —
Ещё больше стали ослы роптать.
Когда же был в канцлеры бык возведён,
Ослиный род зафыркал, взбешён.
Он пригрозил революцией даже!
Король тогда нахлобучил в раже
Корону скорее и закутал фигуру
Скорее в храбрую львиную шкуру.
Затем призвать в тронный зал
Он недовольных ослов приказал
И такими словами почтил собрание:

«Высокочтимые подданные ослиного званья,
Вы полагаете, что осёл я, как вы?
Вы ошибаетесь, мне родственны львы.
При дворе мне это твердят нередко
И дама благородная и субретка.
Это же писал мой придворный поэт,
Есть у него такой куплет:
«Как горб имеют дромадеры,
Так ты имеешь льва манеры

И львиное величие духа.
Душа твоя вовсе не длинноуха».
Так поёт он в своём лучшем твореньи,
Которое весь двор привело в восхищенье,
Здесь я любим; гордые павлины
Шекочут взапуски мой загрибок львиный.
Искусства всегда я поддерживать рад,
Одновременно Август я и Меценат.
Придворный театр мой пышно цветёт.
Роли героев играет кот,
Примадонна Мими — из кукол прелестных,
И в труппе штук двадцать мопсов известных.
Академию художеств приказ мною дан
Открыть для талантливых обезьян.
Её директором держу, in petto *,
Я Рафаэля гамбургского гетто.
Леманна я велел сюда пригласить —
Мой лик он должен изобразить.
У меня есть опера, у меня есть балет,
Где, вполне пикантен и полураздет,
Поёт хор птиц, что вовсе неплохи,
Где даровитые скачут блохи.
Там капельмейстером Мейербер,
Наш музыкальный медведь-миллионер;
Теперь он пишет гала-представленье
К торжественным дням моего обрученья.
Я сам упражняюсь в до-ре-ми-соль,
Как Фридрих Великий, прусский король;
Он дул во флейту, — я дергаю струны,
И часто взгляд, прекрасный и юный,
Полный любви, на себе подмечал,
Когда с чувством на лютне бренчал.
С восторгом королева узнает вдруг,
Как музыкален её супруг.
Сама она — безупречная кобыла,
Чистейшая кровь течёт в её жилах,
В родне её происходит кто-то
От Россинанта Дон-Кихота;
Ведёт свой род эта персона
И от Баярда сыновей Эймона.
Говорится ещё в её родословной,
Что многие предки её безусловно
Ржали под знамёнами Бульонского Готфрида,

* то есть директором, назначение которого решено, но откладывается по разным причинам.

Покорившего город священный Давида.
Но больше она статью красивой
Блестает! Чуть тряхнёт она гривой,
И увижу я розовых ноздрей трепетанье, —
Сердце моё дрожит от желанья.
Всех кобылиц она цвет и корона
И мне подарит наследника трона, —
Увидите вы, что это соединенье
Обеспечит династии моей утвержденье.
Имя моё не забудут, конечно,
Клио в анналах сохранит его вечно.
Повсюду пройдёт обо мне молва,
Что гордо носил я сердце льва
В груди, что мудро, умно
Я правил и на лютне играл заодно».

Король тут рыгнул, но не надолго прервал он
Знаменитую речь, и так продолжал он:

«Высокочтимые подданные ослиного званья,
Лишь при условии послушанья
Я не лишу вас благословенья.
Платите налоги без промедленья
И не сходите с прямой дороги,
Где блаженной памяти отцов ваших ноги
Всегда шагали. И в холод и в жар
Таскали они мешки на базар,
Как всем им религия повелела;
До революций им не было дела,
Для ропота пасть их была закрыта,
Набожно, мирно у привычного корыта
Ели они без забот своё сено.
Старое время прошло, несомненно.
Вы, новые ослы, остались ослами,
Но покорности нет между вами.
Виляет, как прежде, смиренно ваш хвост,
Но таится в вас дерзости рост.
Все, глядя на вашу дурацкую мину,
За честную вас принимают скотину,
Но вы потеряли душевную невинность,
Несмотря на умильную вашу ослиность.
Чуть только перец вам сунут в зад,
Как тотчас же крик подымает ваш брат.
Ужасный концерт! Вы весь свет растерзать
Хотели б, а в силах лишь только орать.
Нелепая злоба, в ней дурь лишь видна!

Бессильная ярость, она смешна!
Мне открывает ваш глупый крик
Ваш внутренний подлинный коварный лик,
И сколько всяких мерзостей,
И невероятных дерзостей,
И яду, и жёлчи, и нравственной гнили
В ослиной шкуре скрыты были».

Король тут рыгнул, но не надолго прервал он
Знаменитую речь, и так продолжал он:

«Высокочтимые подданные ослиного званья,
Я насквозь вас вижу. Негодованья —
Да, да, негодованья — исполнен мой дух.
Как вы осмелились ворчать вслух
И посрамили моё управленье!
С вашей ослиной точки зренья
Вам не понять тех высоких идей,
Что политикой проводились моей.
Эй, берегитесь! В моей стране
Дубов и буков довольно вполне.
Из них виселицы делать прекрасно,
А также и палки. Совет мой — напрасно
Не заниматься моими делами.
Совет мой — держать язык за зубами.
Всех резонёров, мечтающих сумасбродно,
Велю своим слугам сечь всенародно;
Придётся в тюрьме им шерсть чесать.
А кто о восстании будет болтать
И портить мостовые для баррикады,
Тех велю вешать без всякой пощады.
Вот что, ослы, я вдолбить вам хотел.
Теперь убирайтесь для домашних дел».

Лишь кончил король свои назиданья, —
Ликуя, подданные ослиного званья
Все крикнули дружно: «И-а! И-а!
Биват наш король! Ура! Ура!»

МИХЕЛЬ ПОСЛЕ МАРТА'

Немецкий Михель был с давних пор
Байбак, не склонный к проказам,
Но март и в нём разжёл задор:
Он стал выказывать разум.

Каких он чувств явил порыв,
Наш белокурый приятель!
Кричал, приличия забыв,
Что каждый князь — предатель!

И музыку волшебных саг
Уже я слышал всюду.
Я, как глупец, попал впросак,
Почти поверив чуду.

Но ожил старый сброд, а с ним
И старонемецкие флаги.
Пред чёрно-красно-золотым
Умолкли волшебные саги.

Я знал эти краски, я видел не раз
Предвестья подобного рода.
Я угадал твой смертный час,
Немецкая свобода.

Я видел героев минувших лет,
Ардта и дядю Яна,
Покинувших загробный свет,
Чтоб драться за кайзера рьяно.

Я увидал всех буршей вновь,
Безусых любителей рома,
Готовых, чтоб кайзер узнал их любовь,
Пойти на всё, до погрома.

Попы, дипломаты, всякий хлам,
Адепты римского права, —
Творила единенья храм
Преступная орава.

А Михель, свист пустив и храп,
Уснул с блаженной харей
И снова проснулся как преданный раб
Тридцати четырёх государей.

К УСПОКОЕНИЮ

Мы спим, как некогда Брут. Но всё ж
Проснулся он, и холодный нож
Цезарю в грудь вонзил средь сената!
Тираноедом был Рим когда-то.

Не римляне мы, мы курим табак.
Каждый народ устроен так —
Свой у каждого вкус и значение, —
В Швабии варят отлично варенье.

Германцы мы: каждый смел и терпим.
Здоровым, растительным сном мы спим.
Когда же проснёмся, мы жаждою страждем,
Но только не крови тиранов жаждем.

Каждый у нас верен, как дуб,
Как липовый луб, и сам себе люб;
В стране дубов и лип как будто
Трудно когда-нибудь встретить Брута.

А если б у нас и нашёлся Брут,
Так Цезаря он не сыскал бы тут,
Искал бы Цезаря он напрасно;
Пряники наши пекутся прекрасно.

У нас есть тридцать шесть владык
(Не много!), и каждый из них привык
Звезду у сердца носить с опаской,
И мартовы иды ему не указка.

Отцами зовём мы их всякий раз,
Отчизна же — та страна у нас,
Которой владеет их род единый;
Мы любим также капусту с свиной.

Когда наш отец гулять идёт,
Мы шляпы снимаем — отцу наш почёт;
Германия — набожный ребёнок,
Это тебе не римский подонок.

СИЛЕЗСКИЕ ТКАЧИ*

В их мрачном взоре слёзы не блещут,
Сидят у станка и зубами скрежещут:
«Германия, саван тебе мы ткём,
Тройное проклятье наше в нём...
Мы ткём, мы ткём!

Проклятие богу, что нас, бессердечный,
Обрѣк на холод, голод вечный.

Напрасно мы ждали, чтоб он нам помог, —
Дразнил, издевался и лгал нам бог...
Мы ткём, мы ткём!

Проклятье монарху! Король толстосумов,
О нашей горькой нужде и не думав,
Он последний грош из нас выжать рад,
Всех нас, как собак, расстреляет подряд...
Мы ткём, мы ткём!

Проклятье ханжеской отчизне,
Где подлость процветает в жизни,
Где рано вянет всякий цвет,
Где в гнили червям недостатка нет...
Мы ткём, мы ткём!

Гремит станок, челнок снуёт,
Ткём день и ночь мы напролёт, —
Для старой Германии саван мы ткём,
Тройное проклятье наше в нём...
Мы ткём, мы ткём!»



II

ГЕРМАНИЯ¹⁰

(Зимняя сказка)

ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Прощай, Париж! Прими привет
В последние мгновенья,
О город, где ликует всё
В блаженстве упоенья.

В моём немецком сердце боль,
Мне эта боль знакома.
Единственный врач исцелил бы меня —
И он на севере, дома.

Он знаменит умением своим,
Он лечит быстро и верно,
Но, признаюсь, от его микстур
Мне уж заранее скверно.

Прощай, чудесный французский народ,
Мои весёлые братья!
Нелепой тоской я гоним, но клянусь
Вернуться к вам в объятья.

Я даже о запахе торфа теперь
Вдыхаю не без грусти,
О козочках в Люнебургской степи,
О репе, о капусте.

О грубости нашей, о табаке,
О пиве, пузатых бочках,
О толстых гофратах, ночных сторожах,
О розовых пасторских дочках.

И мысль увидеть старушку-мать,
Признаться, давно я лелею.
Ведь скоро уже тринадцать лет,
Как мы расстались с нею.

Прощай, моя радость, моя жена,
Тебе не понять эту муку.
Я так горячо обнимаю тебя
И сам тороплю разлуку.

Жестоко терзаясь, от счастья с тобой,
От высшего счастья бегу я.
Я воздух Германии должен вдохнуть,
Иль я погибну, тоскуя.

До боли доходит моя тоска,
Мой страх, моё волнение.
Предчувствуя близость немецкой земли,
Нога дрожит в нетерпении.

Но скоро, надеюсь, я стану здоров, —
Опять в Париж прибуду.
И к Новому году тебе привезу
Подарков целую грудку.

I

То было мрачной порой ноября.
Хмурилось небо сурово.
Дул резкий ветер. В тумане седом
Вступал я в Германию снова.

И лишь границу я увидал,
Так сладостно и больно
Забилось сердце. И, что таить, —
Я прослезился невольно.

Но вот зазвучала немецкая речь.
Я слушал в странном волнении;
Казалось, кровью сердце моё
Исходит в блаженном томлении.

То девочка с арфой пела песнь,
И в голосе фальшивом
Звучало тёплое чувство. Я был
Растроган грустным мотивом.

И пела она о муках любви,
О жертвах, о свиданьи
В том лучшем мире, где душо
Неведомо страданье.

И пела она о скорби земной,
О счастье быстротечном,
О светлом рае, где душа
Сияет в блаженстве вечном.

То старая песнь отреченья была,
Легенда о радостях неба,
Которой баюкают глупый народ,
Чтоб не просил он хлеба.

Я знаю мелодию, знаю слова,
Я авторов знаю отлично;
Они тайком тянули вино,
Проповедуя воду публично.

Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем;
Мы в небо землю превратим,
Земля нам будет раем.

При жизни счастье нам подавай!
Довольно слёз и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.

А хлеба хватит нам для всех —
Устроим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота,
И сладкий горошек в приправу.

Да, сладкий горошек найдётся для всех,
А неба нам не нужно, —

Пусть ангелы да воробьи
Владеют небом дружно!

Скончавшись, крылья мы обретём,
Тогда и валетим в их селенья,
Чтоб самых блаженных пирожных вкусить
И пресвятого печенья.

Чудесная песнь, волшебная песнь!
Ликуя, поют миллионы!
Умолкнул погребальный звон,
Забыты надгробные стоны!

С прекрасной Европой помолвлен теперь
Свободы юный гений,—
Любовь призывает счастливых на пир,
На радостный пир наслаждений.

И если у них обошлось без попа —
Счастливей не может быть знака!
Привет невесте и жениху
И детям от светлого брака!

Венчальный гимн эта новая песнь,
Лучшая песнь поэта!
В моей душе восходит звезда
Высокого обета.

И сонмы созвездий пылают кругом,
Текут огневыми ручьями.
В волшебном приливе сил я могу
Дубы вырывать с корнями.

Живительный сок немецкой земли
Огнём напоил мои жилы.
Гигант, материнской коснувшись груди,
Исполнился новой силы.

2

Малютка всё распевала песнь
О светлых горних странах.
Чиновники прусской таможни меж тем
Копались в моих чемоданах.

Обнюхали всё, раскидали кругом
Бельё, платки, манишки,

Ища драгоценности, кружева
И нелегальные книжки.

Глупцы, вам ничего не найти,
И труд ваш безнадежен!
Я контрабанду везу в голове,
Не опасаясь таможен.

Я там ношу кружева острот
Потоньше брюссельских кружев, —
Они исколют, изранят вас,
Свой острый блеск обнаружив.

В моей голове сокровища все,
Венцы грядущим победам,
Алмазы нового божества,
Чей образ дивный неведом.

И много книг в моей голове.
Поверьте слову поэта!
Как птицы в гнезде, там щебечут стихи,
Достойные запрета.

И в библиотеке сатаны
Нет более колких басен,
Сам Гофман фон Фаллерслебен для вас
Едва ли столь опасен!

Стоявший рядом пассажир
Заметил мне в поясненье,
Что это таможенный прусский союз,
Великое объединенье.

«Таможенный союз — залог
Национальной жизни.
Он цельность и единство даст
Разрозненной отчизне.

Нас внешним единством свяжет он,
Как говорят, матерьяльным.
Цензура единством наш дух облечёт
Поистине идеальным.

Мы станем отныне едины душой,
Едины мыслью и телом,
Германии нужно единство теперь
И в частностях и в целом».

В Аахене, в древнем соборе, лежит
 Carolus Magnus * — великий!
 Не следует думать, что это Карл
 Майер из швабской клики.

Я не хотел бы, как мёртвый король,
 Лежать в гробу холодном;
 Уж лучше на Неккаре в Штуккерте жить
 Поэтом, пускай негодным.

В Аахене даже у псов хандра —
 Лежат, скуля беззвучно:
 «Дай, чужеземец, нам пинка,
 А то нам очень скучно!»

Я в этом убогом сонливом гнезде
 Часок пошатался уныло,
 И, встретив прусских военных, нашёл,
 Что всё осталось, как было.

Высокий красный воротник,
 Плащ серый, всё той же моды.
 «Мы в красном видим французскую кровь», —
 Пел Кернер в прежние годы.

Смертельно тупой, педантичный народ!
 Прямой, как прежде, угол
 Во всех движеньях. И подлая спесь
 В недвижимом лице этих пугал.

Шагают — ни дать ни взять — манекен, --
 Муштра у них на славу!
 Не проглотили ль палку они,
 Что их обучала уставу?

Да, фухтель не вывелся, он лишь стал
 Их внутренним достояньем.
 Сердечное «ты» старинного «он»
 Осталось напоминаньем.

И, в сущности, ус, как потомок прямой.
 Достоин наследовал косам!
 Коса болталась на спине,
 Теперь — висит под носом.

* Карл Великий (лат.).

Зато кавалерии новый костюм
И впрямь придуман не худо:
Особенно шлем достоин похвал,
А шпик на шлеме — чудо!

Здесь ясно виден рыцарский дух,
Романтика — в каждой детали.
Как будто Иоганна де Монфоко
Иль Тик и Уланд предстали.

Как будто средневековый строй
Оруженосцев пред вами:
Сердца, как прежде, монарху верны,
Зады — расшиты гербами.

Как будто турниры припомнились вам.
Служенье даме, обеты.
Печати не знал этот набожный век,
И не были в моде газеты.

Да, да, сей шлем понравился мне.
Он — плод высочайшей заботы.
Его изюминка — острый шпик!
Король — мастак на остроты!

Боюсь только, с этой романтикой — грех.
Ведь если появится тучка,
Новейшие молнии неба на вас
Притянет столь острая штучка.

Советую выбрать полегче убор
И на случай военной тревоги.
При бегстве средневековый шлем
Стеснителен в дороге!

На почте я знакомый герб
Увидел над фасадом
И в нём ненавистную птицу, чей глаз
Как будто брызжет ядом.

О гнусная тварь, попадешься ты мне,
Я рук не пожалею!
Выдеру когти и перья твои,
Сверну проклятой шею!

На шест высокий вздёрну тебя
И праздник дам на прощанье:
Устрою для рейнских вольных стрелков
Весёлое состязанье!

Венец и держава тому молодцу,
Что птицу сшибёт стрелою.
Мы крикнем: «Да здравствует король!»
И туш сыграем герою.

4

Мы поздно вечером прибыли в Кёльн.
Я Рейна услышал дыханье.
Немецкий воздух пахнул мне в лицо
И вмиг оказал влиянье

На мой аппетит. Я омлет с ветчиной
Вкусил благоговейно,
Но был он, к несчастью, пересолён, —
Пришлось заказать рейнвейна.

И ныне, как встарь, золотится рейнвейн
В зеленоватом стакане.
Похватишь лишку — ударит в нос,
И голова — в тумане.

Так сладко щекочет в носу! А душа
Растаять от счастья готова.
Меня потянуло в пустынную ночь
Бродить по городу снова.

Мне чудились в каменном взгляде домов
Невысказанные желанья
Поведать мне тайны забытых легенд
Старинные преданья.

Сетями гнусными святош
Был старый Кёльн опутан.
Здесь было царство тёмных людей,
Что высмеял Ульрих фон Гуттен.

Здесь церковь отплясывала канкан,
Свирепствуя беспредельно.
Доносы подлые строчил
Гохстрааген — Менцель Кёльна.

Здесь пламя костра пожирало людей,
Губило их творенья
Под дикий звон колоколов,
Псалмы и песнопенья.

Злоба и глупость блудили тут,
Грызясь, как псы над костью.
От их приплода и теперь
Разит фанатической злостью.

Но вот он! В ярком сияньи луны
Неимоверной машиной —
Так дьявольски чёрен — торчит в небеса
Собор над водной равниной.

Бастилией духа он должен был стать;
Святейшим римским пролазам
Мечталось: «Мы в этой гигантской тюрьме
Сгноим немецкий разум».

Но громовое «Стой!» сказал
Им Лютер непреклонный,
И вот собор до наших дней
Стоит, незавершённый.

Он не был достроен — и благо нам!
Ведь в этом себя проявила
Протестантизма великая мощь,
Германии новая сила.

Вы, жалкие плуты, Соборный союз,
Не вам — какая нелепость! —
Не вам воскресить безжизненный труп,
Достроить старую крепость.

О глупый бред! Бесполезно теперь,
Торгуя словесным елеем,
Выклянчивать грош у еретиков,
Ходить за подачкой к евреям.

Напрасно будет великий Франц Лист
Вам жертвовать сбор с выступлений!
Напрасно будет речами блистать
Король — доморощенный гений.

Не будет закончен Кёльнский собор,
Хоть глупая швабская свора
Прислала корабль наилучших камней
На построенье собора.

Не будет закончен — назло воронью
И совам той гнусной породы,

Которой мил церковный мрак
И башенные своды.

И даже такое время придёт,
Когда, без особого спора,
Не кончив зданье, соорудят
Конюшню из собора.

«Но если собор под конюшню отдать,
С мощами будет горе.
Куда мы денем святых волхвов,
Лежащих в алтарном притворе?»

Пустое! Ну, время ль возиться теперь
С делами церковного клира!
Святым царям из восточной земли
Найдётся другая квартира.

А впрочем, я дам превосходный совет:
Им лучшее место, поверьте,
Те клетки железные, что висят
На башне святого Ламберти.

А если один из троих пропал, —
Невелика утрата:
Повесьте подле восточных царей
Их западного собрата.

5

И к Рейнскому мосту придя, наконец,
В своём бесцельном блужданьи,
Я увидал, как старый Рейн
Струится в лунном сияньи.

«Привет тебе, мой старый Рейн!
Ну, как твоё здоровье?
Я часто вспоминал тебя
С надеждой и любовью».

В ответ раздалось из тёмной воды
Как бы глухое ворчанье,
Сердитый старческий кашель, и вдруг
Я разобрал бормотанье:

«Здорово, мой мальчик, я очень рад,
Что вспомнил ты старого друга.
Тринадцать лет я тебя не видал,
Подчас приходилось мне туго.

Я в Бибрихе наглotalся камней,
А это, знаешь, не шутка;
Но те стихи, что Беккер творит,
Ещё тяжелей для желудка.

Он девственницей сделал меня,
Какой-то недотрогой,
Которая свой девичий веночек
Хранит в непорочности строгой.

Когда я слышу глупую песню,
Мне хочется вцепиться
В свою же бороду. Я готов
В себе самом утопиться.

Французам известно, что девственность я
Утратил, волею рока,
Ведь им уж случалось меня орошать
Струями победного сока.

Глупейшая песня! Глупейший поэт!
Он клеветал без стеснения,
Скомпрометировал просто меня
С политической точки зрения.

Ведь если французы вернутся сюда,
Ну, что я теперь им отвечу!
А кто, как не я, молил небеса
Послать нам скорую встречу?

Я так привязан к французикам был,
Любил их милые штучки.
Они и теперь ещё скачут, поют
И носят белые брючки?

Их видеть рад я всей душой,
Но я боюсь их насмешек:
Иной раз таким подденут стихом,
Что не раскусишь орешек.

Тотчас прибежит Альфред де Мюссе,
Задира желторотый,
И первый пробарабанит мне
Свои дрянные остроты».

И долго бедный старый Рейн
Мне жаловался глухо.
Как мог, я утешил его и сказал
Для ободренья духа:

«Не бойся, мой старый, добрый Рейн,
Не будут глумиться французы:
Они уж не те французы теперь —
У них другие рейтузы.

Рейтузы их не белы, а красны,
У них другие пряжки,
Они не скачут, не поют,
Задумчивы стали, бедняжки.

У них не сходят с языка
И Кант, и Фихте, и Гегель.
Пьют чёрное пиво, курят табак,
Нашлись и любители кегель.

Они филистеры, так же, как мы,
И даже худшей породы.
Они генстенберговцы теперь,
Вольтерьянцы там вышли из моды.

Альфред де Мюссе, в этом ты прав,
И нынче мальчишка вздорный,
Но ты не бойся, мы свяжем ему
Его язычок задорный.

Пускай протрещит он плохой каламбур, —
Мы штучку похуже устроим:
Просвищем, что у прелестных дам
Бывало с нашим героем.

Так успокойся, мой добрый Рейн,
Не думай о всяком вздоре,
Ты песню получше услышишь теперь.
Прощай, мы свидимся вскоре».

6

Вслед Паганини бродил, как тень,
Свой *Spiritus familiaris**, —
То в образе пса, то в виде людском
Покойника Джорджа Гаррис.

Бонапарту являлся огненный муж
Предвестником важных сражений.

* Домашний дух (лат.).

Сократа демон посещал:
То не был плод измышлений.

Я сам, за письменным сидя столом,
Полуночной порою
Замечал, что замаскированный гость
Стоит за моей спиною.

Он что-то держал под чёрным плащом,
Но вдруг — на одно мгновенье —
Сверкало, будто блеснул топор,
И вновь скрывалось виденье.

Он был приземист, широкоплеч,
Глаза — как звёзды блестящи.
Писать он мне никогда не мешал,
Стоял в отдаленьи чаще.

Я много лет не встречался с ним,
Приходил он, казалось, бесцельно,
Но вдруг я снова увидел его
В полночь на улицах Кёльна.

Мечтая, блуждал я в ночной тишине
И вдруг увидал за собою
Безмолвную тень. Я замедлил шаги
И стал. Он стал за мною.

Он стал, как будто ждал меня,
И вновь зашагал упорно,
Лишь только я двинулся. Так пришли
Мы к площади соборной.

Мне страшен был этот призрак немой!
Я молвил: «Открой хоть ныне,
Зачем преследуешь ты меня
В полуночной пустыне?»

Зачем я всегда встречаю тебя
В часы вдохновенных видений,
Когда в мозгу и в сердце моём
Горит огонь откровений?

О, кто ты? Откуда? Зачем судьба
Нас так непонятно связала?
Что значит блеск под плащом твоим,
Подобный блеску кинжала?»

Ответ незнакомца был крайне сух
И даже флегматичен:
«Пожалуйста, не заклинай меня,
Твой тон чересчур патетичен.

Знай, я не призрак былого, не тень,
Покинувшая могилу,
Мне метафизика чужда,
Риторика не под силу.

У меня практически трезвый уклад.
Я не болтаю без цели,
Но что замыслил ты в душе, —
Я выполняю на деле.

Я буду верен тебе до конца!
Как время б ни летело,
Твой замысел будет осуществлён!
Ты мыслишь, за мною — дело.

Да, ты судья, а я палач,
И я, как раб молчаливый,
Исполню каждый приговор твой,
Пускай несправедливый.

Пред консулом ликтор носил топор —
Таков обычай Рима;
Я ликтор твой, но я за тобой
Ношу топор незримо.

Я ликтор твой; за тобою, как тень,
Я следую в скитаньи,
Неся тяжёлый судейский топор, —
Я — мысли твоей деянье».

7

Вернувшись домой, я разделся и вмиг
Уснул, как дитя в колыбели.
В немецкой постели так сладко спать,
Притом в пуховой постели.

Как часто мечтал я с глубокой тоской
О мягкой немецкой перине,
Вертясь на жёстком тюфяке
В бессонную ночь на чужбине.

И спать хорошо, и мечтать хорошо
В немецкой пуховой постели,
Как будто сразу с немецкой души
Земные цепи слетели.

И, всё презирая, летит она ввысь,
В просторы блаженных селений.
Как горды полёты немецкой души
В часы ночных сновидений!

Бледнеют боги, завидев её.
В пути, без малейших усилий,
Она срывает сотни звёзд
Ударом мощных крылий.

Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем,
А мы — воздушным царством грёз,
Там наш престиж бесспорен.

Там гегемония нашей страны,
Единство немецкой стихии.
Как жалко ползают по земле
Все нации другие!

Я крепко заснул, и снилось мне,
Что снова блуждал я бесцельно
В холодном сиянии полной луны
По гулким улицам Кёльна.

И всюду за мною скользил по пятам
Тот чёрный, непостижимый.
Я так устал, я был разбит!
Так бесконечно шли мы!

Мы шли без конца, и сердце моё
Раскрылось зияющей раной,
И капля за каплей алая кровь
Стекала на грудь непрестанно.

Я часто обмакивал пальцы в кровь,
И часто, в смертельной истоме,
Своею кровью загадочный знак
Чертил на чьём-нибудь доме.

И всякий раз, отмечая дом
Рукою окровавленной,

Я слышал, как, жалобно плача, вдали
Колокольчик звенит похоронный.

Меж тем побледнела, нахмурясь, луна
На пасмурном небосклоне.
Неслись громады клубящихся туч,
Как дикие чёрные кони.

И всюду за мною скользил по пятам,
Скрывая сиянье стали,
Мой чёрный спутник. И долго мы с ним
Вдоль тёмных улиц блуждали.

Мы шли и шли, наконец, глазам
Открылись гигантские формы.
Зияла раскрытая настёжь дверь,
И так проникли в собор мы.

В чудовищной бездне царила лишь смерть,
Лишь холод, и мгла, и молчанье, —
Непобедимый сгущало мрак
Светильников тусклых мерцанье.

Я долго бродил вдоль огромных столбов
В притворах, окутанных тьмою,
И только слышал, как мерный шаг
Звучит неотступно за мною.

Но вот открылась в блеске свечей,
В уборе благоговейном,
Вся в золоте и драгоценных камнях
Капелла трёх королей нам.

О чудо! Три святых короля,
Чей смертный сон так долог,
Теперь на саркофагах верхом
Сидели, откинув полог.

Роскошный и фантастичный убор
Одел гнилые суставы.
Прикрыты коронами черепа,
В иссохших руках — державы.

Как остовы кукол, тряслись костяки,
Покрытые древней пылью.
Сквозь благовонный фимиам
Разило смрадной гнилью.

Один из них тотчас задвигал ртом
И начал без промедленья
Выкладывать, почему от меня
Он требует уваженья.

Во-первых, потому что он мёртв,
Во-вторых, он монарх державный,
И, в-третьих, он ведь святой. Но меня
Не тронул сей перечень славный.

И я ответил ему, смеясь:
«Напрасны твои старанья.
Я вижу только, что ты целиком
Отошёл уже в область преданья.

Прочь! Прочь отсюда! Глубоко в земле
Твои родовые наделы.
А жизнь возьмёт для насущных нужд
Сокровища этой капеллы.

Весёлая конница будущих лет
Займёт помещенья собора.
Убирайтесь! Иль вас раздавят, как вшей,
А зданье очистят от сора!»

Я кончил и отвернулся от них,
И страшно блеснул из мрака
Немого спутника страшный топор, —
Он понял всё без знака.

Приблизился и взмахнул топором,
И, беспощадней грома,
Он ниспроверг и раздробил
Три мерзостных фантома.

И отгремел под сводом удар
Непередаваемым гулом,
Кровь хлынула из груди моей...
И утро дверь распахнуло.

8

От Кёльна до Гагена стóбит проезд
Пять талеров прусской монетой.
Я не попал в дилижанс, и пришлось
Тащиться почтовой каретой.

Сырое осеннее утро. Туман.
В грязи увязала карета.
Но жаром сладостным была
Вся кровь моя согрета.

О воздух отчизны! Он нужен душе,
Как солнце весеннее розам.
А грязь на дорогах! Она ведь была
Отечественным навозом!

Дружелюбно махали лошадки хвостом.
Как будто им с детства знаком я.
И были мне райских яблок милей
Помёта их круглые комья.

Вот Мюльгейм. Чистенький городок.
Чудесный нрав у народа!
Я проезжал здесь последний раз
Весной тридцать первого года.

Тогда природа была в цвету,
И солнце ярко смеялось,
И птицы пели страстную песнь;
И людям сладко мечталось.

Все думали: «Тощее рыцарство нам
Покажет скоро затылок.
Мы им вослед презентуем вина
Из длинных железных бутылок.

И с пеньем и пляской свобода придёт,
Неся трёхцветное знамя,
И, может быть, генерал Бонапарт
Восстанет из мертвых пред нами».

О господи! Рыцари всё ещё здесь!
Иные из этих каналов
Пришли к нам сухими, как жердь, а у нас
Толщенное брюхо нажрали!

Поджарая сволочь, сулившая нам
Любовь, Надежду, Веру,
Успела багровый нос нагулять,
Рейнвейном упившись не в меру.

Свобода, в Париже ногу сломав,
О песнях и плясках забыла.

Не плещет на башнях трёхцветный стяг, —
Поникнув, тоскует уныло.

Император однажды встал из земли,
Но уже без огня былого.
Британские черви смирили его,
И слёг он безропотно снова.

Я сам провожал его в траурный путь
И видел гроб золочёный.
Его золотые богини несли
Под золотою короной.

Далёко вдоль Елисейских полей,
Под Аркой Триумфальной,
В холодном тумане, по снежной грязи
Тянулся кортеж погребальный.

Фальшивая музыка резала слух.
Все музыканты дрожали
От стужи. Глядели орлы со знамён
В такой глубокой печали.

И взоры людей загорались тоской,
Блаженством воспоминаний.
Волшебный сон империи вновь
Сиял в холодном тумане.

Я плакал сам в тот скорбный день
Слезами горя немного,
Когда зазвучало: «Vive l'Empereur!» *
Как страстный призыв былого.

9

Из Кёльна в семь сорок пять утра
Я снова пустился в дорогу.
Мы в Гаген прибыли около трёх.
Теперь — закусим немного.

Накрыли. Весь старонемецкий стол
Найдётся здесь, вероятно.
Сердечный привет тебе, свежий салат,
Как пахнешь ты ароматно!

* Да здравствует император! (франц.).

Каштаны с подливкой в капустных листах,
Я в детстве любил не вас ли?
Здорово, моя родная треска,
Как мудро ты плаваешь в масле!

Кто к чувству способен, тому всегда
Аромат его родины дорог.
Я очень люблю копчёную сельдь,
И яйца, и жирный творог!

Как бойко плясала в жиру колбаса!
А эти дрозды-милашки,
Амурчики в муссе хихикали мне,
Лукавые строя мордашки.

«Здорово, земляк! — шепетали они. —
Ты где же так долго носился?
Уж, верно, ты в чужой стороне
С чужою птицей водился!»

Стояла гусыня на столе,
Добродушно-простая особа.
Быть может, она любила меня,
Когда мы были молоды оба.

Она, подмигнув значительно мне,
Так нежно, так грустно смотрела,
Она обладала красивой душой,
Но у ней было жёсткое тело.

Наконец принесли поросёнка нам,
Он выглядел очень мило.
Доныне лавровым листом у нас
Венчают свиные рыла!

10

За Гагеном скоро настала ночь,
И вдруг холодком зловещим
В кишках потянуло. Увы, трактир
Лишь в Унне нам обещан.

Тут шустрая девочка поднесла
Мне пунша в дымящейся чашке.
Глаза были нежны, как лунный свет,
Как шёлк — золотые кудряшки.

Лепечущий вестфальский акцент
Я впитывал с наслаждением.
Забытые образы вызвал пунш,
И я вспоминал с умиленьем

Вас, братья-вестфальцы! Как часто пивал
Я в Гёттингене с вами!
Как часто кончали мы ночь под столом,
Прижавшись друг к другу сердцами!

Я так сердечно любил всегда
Чудесных добрых вестфальцев!
Надёжный, крепкий и верный народ,
Не врут, не скользят между пальцев.

А как на дуэли держались они,
С какою львиной отвагой!
Каким молодцом был каждый из них
С рапирой в руке иль со шпагой!

И выпить и драться они мастера,
А если протянут губы
Иль руку в знак дружбы, заплачут вдруг —
Сентиментальные дубы!

Награди тебя небо, добрый народ,
Твои посева утроив!
Спаси от войны и от славы тебя,
От подвигов и героев!

Помогай господь твоим сыновьям
Сдавать успешно экзамен.
Пошли твоим дочкам добрых мужей
И деток хороших. Amen!*

11

Вот он, наш Тевтобургский лес!
Как Тацит в годы оны,
Классическую вспомним топь,
Где Вар сгубил легионы.

Здесь Герман, славный херусский князь,
Насолил латинской собаке.

* Амьнь! (лат.).

Немецкая нация в этом дерьме
Героем вышла из драки.

Когда бы Герман не вырвал в бою
Победу своим блондинам,
Немецкой свободе был бы капут,
А Рим бы стал господином.

Отечеству нашему были б тогда
Латинские нравы привиты.
Весталок бы даже Мюнхен имел,
И вышли бы швабы в квивиты.

Наш Генстенберг, как гаруспекс,
Копался б в кишечнике бычьем.
Неандер стал бы, как истый авгур,
Следить за полётом птичьим.

Бирх-Пфейфер тянула бы скипидар,
Подобно римлянкам знатным,
Говорят, что от этого запах мочи
У них был очень приятным.

Наш Раумер был бы уже не босяк,
Но подлинный римский босякус.
Без рифмы писал бы Фрейлиграт,
Как сам Horatius Flaccus.

Грубьян-попрошайка папаша Ян,
Он звался б теперь грубиянус.
Ме Hercule!* Масман знал бы латынь!
Наш Marcus Tullius Masmanus.

Друзья прогресса мощь свою
Пытали б на львах и шакалах
В песке арен, а не так, как теперь, —
На шавках в мелких журналах.

Не тридцать шесть владык, а один
Лишь Нерон давил бы нас игом,
И мы вскрывали бы вены себе,
Противясь рабским веригам.

А Шеллинг бы, став Сенекой, погиб,
Сражённный таким конфликтом.

* Клянусь Геркулессом (лат.).

Корнелиус наш услышал бы тогда:
«*Caecatum non est pictum*»*.

Слава господу! Герман выиграл бой,
И прогнаны чужеземцы,
Вар с легионами отбыл в рай,
А мы попрежнему немцы.

Немецкие нравы, немецкая речь, —
Другая у нас не пошла бы, —
Осёл — осёл, а не *asinus***,
А швабы — те же швабы.

Наш Раумер — тот же немецкий босяк,
Хоть дан ему орден, я слышал,
И пишет рифмами Фрейлиграт,
Из него Гораций не вышел.

В латыни Масман — ни в зуб толкнуть,
Бирх-Пфейфер пристрастна к драмам,
И ей не надобен скипидар,
Как римским галантным дамам.

О Герман! Благодарим тебя!
Прими поклон наш низкий!
Мы в Детмольде памятник ставим тебе,
Я участвую сам в подписке.

12

Трясётся ночью в лесу по корням
Карета. Вдруг затрещало.
Сломалась ось, и мы стоим.
Удовольствия очень мало.

Почтарь слезает, спешит в село,
А я остаюсь в ожиданьи
В глухую полночь один в лесу.
Мне слышится завыванье.

То волки подняли дикий всй
Голодными голосами.
Их огненные глаза горят,
Как факелы, за кустами.

* Пачкотня не есть живопись (лат.).

** Осел (лат.).

Узнали, видно, про мой приезд
И в честь мою всем собором
Иллюминировали лес
И распевают хором.

Приятная серенада! Я
Сегодня гвоздь представленья.
Я принял позу, отвесил поклон
И стал подбирать выраженья.

«Сограждане волки! Я счастлив, что мог
Такой удостоиться чести:
Найти столь избранный круг и любовь
В столь неожиданном месте.

Мои ощущения в этот миг
Нельзя передать словами.
Клянусь, я не забуду вовек
Часов, проведённых с вами.

Я вашим доверием тронут до слёз,
Благодарю за вниманье.
Живое свидетельство дружбы своей
Вы дали мне в час испытанья.

Сограждане волки! Вы никогда
Не верили лживым писакам,
Которые нагло трезвонят, что я
Перебежал к собакам.

Что я отступник и принял пост
Советника в стаде бараньем.
Конечно, разбором такой клеветы
Мы заниматься не станем.

Овечья шкура, что я иногда
Надевал, чтоб согреться, на плечи,
Поверьте, не соблазнила меня
Сражаться за счастье овечье.

Я не советник, не овца,
Не пёс, боящийся палки,
Я ваш! И волчий зуб у меня,
И сердце волчьей закалки!

Я тоже волк и буду всегда
По-волчьи выть с волками!

Доверьтесь мне и держитесь, друзья!
Тогда и господь будет с вами».

Без всякой подготовки я
Держал им речи эти.
Кольб, обкарнав слегка, пустил
Их во «Всеобщей газете».

13

Над Падерборном солнце в тот день
Взошло, сощураясь кисло.
И впрямь, освещенье глупой земли —
Занятье, лишённое смысла.

Едва осветило с одной стороны,
К другой несётся поспешно.
Тем временем та успела опять
Покрыться тьмой кромешной.

Сизифу камня не удержать,
А Данаиды напрасно
Льют воду в бочку. И мрак на земле
Рассеять солнце не властно.

Предутренний туман исчез,
И в дымке розовой
У самой дороги возник предо мной
Муж, на кресте распятый.

Мой скорбный родич, мне грустно до слёз
Глядеть на тебя, бедняга!
Грехи людей ты хотел искупить —
Дурак! — для людского блага.

Плохую шутку сыграли с тобой
Влиятельные персоны.
Кой дьявол тянул тебя рассуждать
Про церковь и законы?

На горе твоё, печатный станок
Ещё известен не был.
Ты мог бы толстую книгу издать
О том, что относится к небу.

Там всё, касающееся земли,
Подвергнул бы цензор изъятью, —

Цензура бы тебя спасла,
Не дав свершиться распятью.

Хоть пощадил бы уж попов
Ты в проповеди нагорной:
Умом обладал и талантом, а текст
Придумал самый вздорный.

Ростовщиков и торгашей
Из храма прогнал ты с позором,
И вот, мечтатель, висишь на кресте,
В острастку фантазёрам!

14

Холодный ветер, голая степь,
Карета ползёт толчками.
Но в сердце моём поёт и звенит:
«О солнце, гневное пламя!»

Я слышал от няни этот напев,
Звучащий так скорбно и строго.
«О солнце, гневное пламя!» — он был,
Как зов лесного рога.

То песнь про убийцу, что в старину
В довольстве жил и весельи, —
Его повешенным нашли
В лесу на старой ели.

Был смертный приговор ему
Прибит гвоздём под ветвями.
То мстители Фемы свершили суд.
«О солнце, гневное пламя!»

Да, гневное солнце следило за ним
И злыми его делами.
Предсмертный вопль Оттилии был:
«О солнце, гневное пламя!»

И образ чудесной старушки встаёт
Предо мною при звуках старинных.
Я вижу бледное лицо
Всё в тонких лучистых морщинах.

Из Мюнстера родом она была
И много задушевных,

Чудесных песен певала мне,
Историй о феях, царевнах.

Я помню, как я принцессу жалел,
Что в голой степи блуждала
И волосы золотые свои
Тугим узлом заплетала.

Её заставляли гусей пасти,
И часто, вечерами,
Пригнав своё стадо, она у ворот
Тайком заливалась слезами.

Ах, над воротами прибит
Был череп лошадиный.
Здесь верный конь её погиб,
Связав бедняжку с чужбиной.

Принцесса вздыхала в горькой тоске:
«О Фаллада, зачем умерла ты?»
И череп ей кричал в ответ:
«О горе, зачем ушла ты?»

Принцесса вздыхала в горькой тоске:
«О, если б мать моя знала!»
И череп ей кричал в ответ:
«Она бы от горя увяла!»

Я слушал старушку, не смеядохнуть.
И тихо, и серьёзно
Она начинала старинную быль
О Ротбарте, кайзере грозном.

Она уверяла, что он не мёртв,
Что это вздор учёный,
Что в недрах одной горы он живёт
Со свитой вооружённой.

Гора — Кифгайзер, а в ней — дворец,
Роскошны его порталы,
Торжественным светом озарены
Тяжелосводные залы.

Конюшня — первый зал дворца.
Закованы в белые брони,
Несметной силой там стоят
Над яслями гордые кони.

Оседлан и взнуздан каждый конь,
Но медленно их дыханье,
Не ржёт ни один и не роет земли,
Недвижны, как изваянье.

Вторая зала. На сене там
Лежат солдат легионы.
Суровый, бородатый народ, —
И лица их непреклонны.

И каждый воин вооружён,
Но зал — немая могила.
Недвижны все. Застыли все,
Как будто их смерть усыпила!

И третий зал — серебро и булат,
Мечи и секиры. Из меди
Кольчуги и шлемы. И камнёт...
Сокровища франкских наследий.

А пушек хоть мало, достаточно всё ж,
Чтоб быть трофеем прекрасным.
Огромное знамя расписано всё
По золоту чёрным и красным.

В четвёртом зале кайзер живёт.
Проходят века чередою,
А он на каменном троне сидит,
О стол опираясь рукою.

И огненно-рыжая борода
Спадает наземь каскадом.
Порой, тяжёлые веки подняв,
Он глянет разгневанным взглядом.

И спит он иль в думу ушёл глубоко, —
Ответ затруднителен, право.
Но бодро встанет он в нужный час,
Когда потребует слава.

Взнесёт рукой трёхцветный стяг
И крикнет: «К оружию, к оружию!»
И конная рать, гремя и звеня,
С земли поднимется дружно.

И каждый, как буря, взлетит на коня,
Конь прынет с весёлым ржаньем,

И всадники скачут в гремящую даль,
И трубы звучат ликованием.

И поскоч их добр, и добр их удар,
Им битва не в труд, а в забаву:
А кайзер держит строгий суд,
Зовёт убийц на расправу.

Убийц, погубивших невинный цветок,
Дитя с голубыми глазами —
Германию, деву в кудрях золотых.
«О солнце, гневное пламя!»

Кто в замке, спасая шкуру, сидел
И не высовывал носа,
Того на мстительный суд извлечёт
Карающий Барбаросса!

Как сладостна песня, как нежен напев,
В душе сохранённый годами!
Моё суеверное сердце поёт:
«О солнце, гневное пламя!»

15

Тончайшей пылью сеется дождь,
Острее ледяных иголок.
Лошадки печально машут хвостом, —
В поту и в грязи до чёлок.

Рожок почтальона протяжно трубит.
В мозгу звучит поминутно:
«Три всадника рысью летят из ворот».
На сердце стало так смутно.

Меня клонило ко сну. Я заснул.
И мне привиделось ясно,
Что я нахожусь в чудесной горе,
Где Ротбарт царствует властно.

Но он уж теперь не сидел за столом,
Как идол, в позе привычной,
И вовсе не так величаво смотрел,
Как мы представляем обычно.

Он долго слонялся по залам со мной,
Откинув спесь государей,

И демонстрировал вещи свои,
Как истинный антикварий.

Он в зале оружия мне объяснил
Употребленье палиц.
Отёр мечи, их остроту
Попробовал на палец.

Потом, отыскав павлиний хвост,
Смахнул им пыль, что лежала
На панцыре, на шишаке,
На уголке забрала.

И, знамя почистив, отметил вслух,
С сознанием важности дела,
Что в древке не завёлся червь
И шёлка моль не проела.

Когда ж мы забрели в тот зал,
Где грозным легионом
Лежали войны, старик
Сказал заботливым тоном:

«Здесь надо шопотом говорить,
А то проснутся ребята.
Как раз прошло столетье опять,
И нынче у нас расплата».

И кайзер тихо пошёл по рядам,
И каждому солдату
Он осторожно, боясь разбудить,
Засунул в карман по дукату.

Потом тихонько шепнул, смеясь
Моему удивлённому взгляду:
«По дукату за каждую сотню лет
Я положил им награду».

В том зале, где кони стоят вдоль стен
Недвижным, мощным рядом,
Старик взволнованно руки потёр
С особенно радостным взглядом.

Он их немедля стал считать,
Похлопывая по рёбрам.
Считал, считал и губами вдруг
Задвигал с видом недобрым:

«Опять нехватает, — промолвил он,
С досады чуть не плача. —
Людей и оружия довольно у нас,
А вот в конях — недостача.

Барышников я уже разослал
По свету, чтоб везде нам
Они покупали лучших коней,
По самым высоким ценам.

Составим полный комплект и — в бой!
Ударим так, чтоб с налёта
Освободить мой немецкий народ,
Спасти отчизну от гнёта».

Так молвил кайзер. И я закричал:
«За дело, старый рубака!
Нехватит коней — найдутся ослы,
Когда заварится драка».

Но Ротбарт, смеясь, ответил: «Спешить
Не вижу нужды совсем я, —
Не за день выстроили Рим,
Для дела надобно время.

Кто нынче не явится, завтра придёт.
А в бой пока ещё рано,
Ведь в Римской империи говорят:
«Chi va piano, va sano!» *

16

Внезапный толчок пробудил меня,
Но вновь, охвачен дрёмой,
Я к кайзеру Ротбарту был унесён
В Кифгайзер давно знакомый.

Опять, беседуя, мы шли
Сквозь гулкие амфилады.
Старик расспрашивал меня,
Разузнавал мои взгляды.

Уж много лет он не имел
Вестей из мира людского.

* «Тише едешь — дальше будешь» (итал.).

Почти со времён Семилетней войны
Не слышал живого слова.

Он спрашивал: как Моисей Мендельсон?
И Каршин? Не без интереса
Спросил, как живёт госпожа Дюбарри,
Блистательная метресса.

«О кайзер, — вскричал я. — Как ты отстал!
Моисея давно схоронили,
И его Ревекка и сын Авраам
Скончались, и кости их сгнили.

У Авраама был Феликс, от Лии сынок,
Нет спора, мальчонка проворный.
Пошёл в христианстве весьма далеко —
Ведь он капельмейстер придворный!

И старая Каршин давно умерла,
И дочь её Кленке в могиле,
Гельмина Чези, внучка её,
Жива, как мне говорили.

Дюбарри, та каталась, как в масле сыр,
Пока обожатель был в чине —
Людовик Пятнадцатый, а умерла
Старухой на гильотине.

Людовик Пятнадцатый в бозе почил,
Как следует властелину.
Шестнадцатый с Антуанеттой своей
Был послан на гильотину...

Королева хранила тон до конца,
Держалась, как на картине.
А Дюбарри начала рыдать,
Едва подошла к гильотине».

Внезапно кайзер, как вкопанный, стал
И спросил с перепуганной миной:
«Мой друг, объясни, ради всех святых,
Что делают гильотиной?»

«А это, — ответил я, — способ нашли
Возможно проще и чище
Различного званья ненужных людей
Переселять на кладбище.

Работа простая, но надо владеть
Одной интересной машиной.
Её изобрёл господин Гильотен,
Зовут её гильотиной.

Ты будешь пристёгнут к большой доске,
Задвинут между брусками,
Вверху треугольный топорик висит,
Подвязанный шнурками.

Потянут шнур — и топорик вниз
Летит стрелой, без заминки.
Через секунду твоя голова
Лежит отдельно в корзинке».

И кайзер вдруг закричал: «Не смей
Расписывать тут гильотину!
Нашёл забаву! Не дай мне господь
И видеть такую машину!

Какой позор! Привязать к доске
Короля с королевой! Да это
Прямая пощёчина королю.
Где правила этикета?

И ты-то откуда взялся, нахал?
Придётся одёрнуть невежу!
Со мной, голубчик, поберегись,
Не то я крылья обрежу!

От злости жёлчь у меня разлилась,
Принёс же чорт пустозвона!
И самый смех твой — измена вещи
И оскорбленье трона!»

Старик мой о всяком приличьи забыл,
Как видно, дойдя до предела.
Я тоже вспылil и выложил всё,
Что в сердце накипело.

«Герр Ротбарт! — крикнул я. — Жалкий миф!
Сиди в своей старой яме!
А мы без тебя уж, своим умом
Сумеем управиться сами!

Республиканцы высмеют нас,
Отбреют почище бритвы!

И верно: дурацкая небыль в венце —
Хорош полководец для битвы!

А к чёрному с красным и золотым,
К твоему трёхцветному стягу,
Старогерманский сброд у меня
Отшиб ещё в буршестве тягу.

Сиди же лучше в своей дыре.
Твоя забота — Кифгайзер.
А мы... если трезво на вещи смотреть!
На кой нам дьявол кайзер?!»

17

Да, крепко поспорил с кайзером я!
Во сне лишь, во сне, конечно.
С царями рискованно наяву
Беседовать чистосердечно.

Лишь в мире своих идеальных грёз,
В несбыточном сновиденьи
Им немец может сердце открыть,
Немецкое высказать мнение.

Я пробудился и сел. Кругом
Бежали деревья бора,
Его сырая голая явь
Меня протрезвила скоро.

Сердито качались вершины дубов.
Глядели ещё суровой
Берёзы в лицо мне. И я вскричал:
«Прости меня, кайзер, на слове!

Прости мне, о Ротбарт, горячность мою,
Я знаю: ты умный, ты мудрый,
А я необузданный, глупый драчун.
Приди, король рыжекудрый!

Не нравится гильотина тебе, —
Дай волю прежним законам:
Верёвку — мужичью и купцам,
А меч — князьям да баронам.

Лишь иногда меняй приём
И вешай знать без зазренья,

А прочим отрубай башку, —
Ведь все мы божьи творенья.

Восстанови уголовный суд,
Введённый Карлом с успехом,
Распредели опять народ
По сословиям, гильдиям, цехам.

Священной империи римской верни
Былую жизнь, если надо,
Верни нам самую смрадную гниль,
Всю рухлядь маскарада.

Верни все прелести средних веков,
Которые миром забыты,
Я всё стерплю, пускай лишь уйдут
Проклятые гермафродиты, —

Это штиблетное рыцарство,
Мешанина дрянная с прикрасой, —
Готический бред и новейшая ложь,
А вместе — ни рыба, ни мясо.

Ударь по театральным шутам!
Прихлопни балаганы,
Где пародируют старину!
Приди, король долгожданный!»

18

Минден — грозная крепость. Он
Вооружён до предела.
Но с прусскими крепостями я
Неохотно имею дело.

Мы прибыли в сумерки. По мосту
Карета, гремя, прокатила.
Зловеще стонали брёвна под ней.
Зияли рвы, как могила.

Огромные башни с вышины
Грозили мне сурово.
Ворота с визгом поднялись
И с визгом обрушились снова.

Ах, сердце дрогнуло моё!
Так сердце Одиссея,

Когда завалил пещеру циклоп,
Дрожало, холодея.

Капрал, подойдя, учинил нам опрос:
Как звать и кто мы чином?
«Я — врач глазной, зовусь Никто,
Снимаю бельмо исполинам».

В гостинице стало мне дурно совсем,
Еда комком застревала.
Я лёг в постель, но сон бежал,
Давили грудь одеяла.

Над широкой пуховой постелью с боков —
По красной камчатной гардине,
Поблѣкший золотой балдахин
И грязная кисть посредине.

Проклятая кисть! Она мне всю ночь,
Всю ночь не давала покою.
Она дамкловым мечом
Висела надо мною.

И вдруг, змеёй оборотясь,
Шипела, сползая со свода:
«Ты в крепость заточён навек,
Отсюда нет исхода!»

«О, если б снова дома быть, —
Цепenea, шептал я с тоскою, —
В Париже, в Faubourg Poissonière*,
С возлюбленной женою».

Порою кто-то по лбу моему
Проводил рукой железной,
Как будто цензор вычёркивал мысль,
И мысль обрывалась в бездну.

Жандармы в саванах гробовых,
Как призраки у постели,
Теснились белой страшной толпой,
И где-то цепи гремели.

И призраки повлекли меня
В провал глухими тропами,
И вдруг я к чёрной отвесной скале
Прикован был цепями.

*Квартал в Париже.

«Ты здесь, проклятая грязная кисть!»
Я чувствовал, гаснет мой разум.
Когтистый коршун кружил надо мной,
Грозя мне скошенным глазом.

Он дьявольски схож был с прусским орлом,
Он в грудь мне впивался когтями,
Он хищным клювом печень рвал, —
Я стонал, обливался слезами.

Я долго стонал, но крикнул петух,
И сонный бред испарился.
Я в Миндене в потной постели лежал,
И коршун в кисть превратился.

Я с экстренной почтой выехал прочь
И с легким чувством свободы
Вздыхнул на Бюкебургской земле,
На вольном лоне природы.

19

Ты глубоко заблуждался, Дантон,
И заплатил головою!
И на подошвах отчий край
Мы можем взять с собою!

Клянусь, полкняжества Бюкебург
Мне облепило ноги.
Во весь мой век я не видал
Такой проклятой дороги.

Я в Бюкебурге на улице слез,
Чтоб осмотреть мимоходом
Гнездо, где свет узрел мой дед;
Моя бабка — из Гамбурга родом.

В Ганновер я прибыл в обед и, велел
Штиблеты начистить до блеска,
Пошёл осматривать город. Люблю,
Чтоб пользу давала поездка.

О господи, как прилизано все!
Ни мусора, ни пыли!
И богатейшие зданья везде —
В, весьма импозантном стиле.

Особенно площадь понравилась мне —
Здесь что ни дом, то диво!
Живёт здесь король, стоит здесь дворец.
Он выглядит очень красиво.

(Дворец, конечно.) У входа в портал
Стоит караул парадный:
Мундиры — красные, ружья — к ноге,
Вид грозный и кровожадный.

Мой чичероне сказал: «Здесь живёт
Эрнст-Август анахоретом.
Знатнейший торий, британский лорд.
Он стар, но бодр не по летам.

Он идиллически здесь живёт,
Ибо лучше драбантов железных
Его охраняет трусливый нрав
Сограждан его любезных.

Я с ним встречаюсь. На скучный сан
Изливает он сотни жалоб.
Говорит, что ему на посту короля
Не в Ганновере быть надлежало б.

Привыкнув к английским масштабам, он
У нас изнывает от скуки.
Ему досаждают сплин. Боюсь,
На себя наложит он руки.

Я как-то его у камина застал, —
Печальный, в полумраке,
Августейшей рукой он готовил клистир
Своей занемогшей собаке».

20

Из Гарбурга меньше чем через час
Я выехал в Гамбург. Смеркалось.
В мерцаньи звёзд был тихий привет,
А в воздухе — томная вялость.

Мне дома открыла двери мать,
Испуганно взглянула
И, вся от счастья просияв,
Руками громко всплеснула.

«Сыночек мой! Тринадцать лет
Я без тебя скучала.
Ты, верно, страшно хочешь есть,
Что тебе дать сначала?»

Быть может, рыбу и гуся,
А после апельсины?» —
«Давай и рыбу, и гуся,
А после — апельсины!»

Я стал уплетать с аппетитом, а мать
Суетилась с улыбкой счастливой,
Задавала один вопрос за другим,
Иной — весьма щекотливый.

«Сыночек, кто же за тобой
Ходил все эти годы?
Твоя жена умеет шить,
Варить, вести расходы?» —

«Прекрасная рыба, матушка, но
Нельзя говорить за едою:
Подавишься костью, того и гляди,
Побеседуем после с тобою».

Как только прикончил я рыбу мою,
И гусь подоспел с подливой.
Мать снова расспрашивать стала, и вновь
Вопрос был весьма щекотливый.

«Сынок, в какой стране житьё
Всех лучше? При сравнении,
Какому народу — французам иль нам —
Отдашь ты предпочтенье?» —

«Вот, видишь ли, мама, немецкий гусь
Хорош; рассуждая строго,
Французы нас только в начинке забьют,
И соус их лучше намного».

Откланялся вскоре и гусь, и тогда,
Свои предлагая услуги,
Явились ко мне апельсины. Я съел
Десяток без всякой натуги.

Тут снова с большим благодушьем меня
Расспрашивать стала старушка,

Иной вопрос был так хитёр —
Ни дать ни взять ловушка.

«Ну, а политикой, сынок,
Ты занят с прежним рвением?
В какой ты партии теперь?
Ты тот же по убеждениям?» —

«Ах, матушка, апельсины все
Прекрасны, без оговорки.
Я с наслаждением пью их сок
И оставляю корки».

21

Полусгоревший город наш
Отстраивают ныне.
Как недостриженный пудель стоит
Мой Гамбург в тяжком сплине.

Не стало многих улиц в нём.
Напрасно их ищу я.
Где дом, в котором я познал
Запретный плод поцелуя?

Где та печатня, куда я сдавал
«Картины путевые»?
А тот приветливый погребок,
Где устриц вкусил я впервые?

А где же Дрекваль, мой Дрекваль где?
Исчез, и следы его стёрты.
Где павильон, в котором я
Едал несравненные торты?

И где же ратуша, сенат —
Тупого мещанства твердыни?
Погибли! Напрасно надеялись все,
Что пламя не тронет святыни.

С тех пор продолжают люди стонать
И с горечью во взоре
Передают про грозный пожар
Десятки страшных историй:

«Горело сразу со всех сторон,
Всё скрылось в чёрном дыме.

Колокольни с грохотом рушились в прах,
И пламя вставало над ними.

И старой биржи больше нет,
А там, как всем известно,
Веками работали наши отцы
Насколько можно честно.

Душа золотая города — банк,
И книги, куда внесли мы
Стоимость каждого из горожан,
Хвала творцу, невредимы.

Для нас собирали деньги везде,
И в отдалённейших зонах.
Прекрасное дело! Чистый барыш
Исчислен в восьми миллионах.

Все набожные христиане взялись
За дело помощи правой.
Неведомо было левой руке,
Сколь много берётся правой.

К нам отовсюду деньги шли —
По землям и по водам;
Мы принимали всякий дар, —
Нельзя же швыряться доходом.

Постели, одежды сыпались нам,
И мясо, и хлеб, и бульоны.
А прусский король захотел даже вдруг
Прислать свои батальоны.

Весь материальный ущерб покрыть
Нам удалось с избытком.
Но наш испуг, наш ужасный испуг, —
Ведь нет цены этим пыткам».

«Друзья, — сказал ободрительно я, —
Стонать и хныкать не дело.
Ведь Троя получше город была,
Однако тоже сгорела.

Отстройте снова свои дома,
Утрите нос и губы.
Заведите получше законы себе,
Покрепче пожарные трубы.

Не сыпьте в ваш черепаховый суп
Так много кайенского перца,
Не ешьте ваших карпов, их жир
Весьма нездоров для сердца.

Индейки вам не повредят,
Но вас околпачит быстро
Та птица, что снесла яйцо
В парик самого бургомистра.

Сия фатальная птица, друзья,
Знакома вам, вероятно.
При мысли о ней вся пища идёт
У меня из желудка обратно».

22

Заметней, чем город, потрянуло людей.
Нет более грустной картины!
Все одряхлели и подались, —
Ходячие руины!

Кто тощим был — отощал совсем,
А жирный — заплыл, как боров.
Состарились дети. У стариков
Явился детский норов.

Кто был телёнком, тот теперь
Гуляет быком здоровенным.
Гусёнок гордые перья надел,
И сделался гусем отменным.

Старуха Гудель сошла с ума:
Накрашена пуще сирены,
Добыла кудри чернее смолы
И зубы белее пены.

Лишь продавец бумаги, мой друг,
Не пал под гнётом событий.
Его волоса — золотое руно:
Живой Иоанн Креститель.

Н. Н. промчался мимо меня.
Казалось, он сильно взволнован.
Говорят, его погоревший ум
У Бибера был застрахован.

И старый цензор встретился мне.
Я был удивлён немало:
Он сильно сторбился, одряхлел,
Судьба и его потрепала.

Мы долго друг другу руки трясли,
Старик прослезился мгновенно:
Ах, как он счастлив видеть меня!
Была превосходная сцена.

Не всех застал я. Кое-кто
Простился с юдолью земною.
Ах, даже Гумпелино мой
Не встретился больше со мною.

С души великой, наконец,
Земные ниспали оковы,
И светлым ангелом он воспарил
К престолу Иеговы.

Кривого Адониса я не нашёл,
Хотя искал повсюду, —
На гамбургских улицах он продавал
Ночные горшки и посуду.

В рассказы о Мейере надо внести,
Вероятно, большую поправку:
Взаправду ль умер он? Я забыл
Навести у Кёрнета справку.

Саррас, несравненный пудель, издох.
А я охотно верю,
Что Кампе отдал бы целый мешок
Поэтов за эту потерю.

Население Гамбурга с давних времён —
Евреи и христиане.
У тех и у этих есть общая страсть —
Придерживать грош в кармане.

Христиане весьма достойный народ,
Обедают жирно и с проком,
И быстро платят по вексялям
Перед самым последним сроком.

Евреи бывают двух родов
И чтят по-разному бога.

Для новых имеется новый храм,
Для старых, как всаарь, — синагога.

Новые даже свини/у едят,
И все оппозиционеры.
Они демократы, а старики —
Аристократисты всех меры.

Я старых люблю, а новых люблю,
Но, милосердный боже!
Популярная рыба — копчёный шпрот —
Мне несравненно дороже.

23

Как республика, Гамбург спорить не мог
С Венецией в прежние годы,
Но в Гамбурге погреб Лоренца есть,
Где устрицы — высшей породы.

Мы с Кампе отправились в сей погребок,
Желая в уюте семейном
Часок-другой почесать языки
За устрицами и рейнвейном.

Нас ждало приятное общество там.
Меня включили в объятия
Мой старый товарищ, добрый Шофпье,
И многие новые братья.

Там был и Вилле. Его лицо —
Альбом: на щеках бедняги
Академические враги
Исписались ударами шпаги.

Там был и Фукс, язычник слепой
И личный враг Иеговы,
Он верит лишь в Гегеля и заодно
Ещё в Венеру Кановы.

Мой Кампе в полном блаженстве был,
Попав в амфитрионы.
Душевым миром сиял его взор,
Как лик просветлённый мадонны.

С большим аппетитом я устриц глотал,
Рейнвейном пользуясь часто,

И думал: «Кампе большой человек,
Он — светоч издательской касты!

С другим издателем я бы ходил
Оборванный и голодный,
А этот мне даже подносит вино, —
Поступок весьма благородный!

Хвала творцу! Он бременную жизнь
Виноградной украсил лозою,
И Юлиус Кампе в издатели мне
Дарован его рукою.

Хвала творцу и силе его
Вовеки, присно и ныне!
Он создал для нас рейнвейн на земле
И устриц в морской пучине!

Он создал лимоны, чтоб устриц мы
Кропили лимонным соком.
Блюди мой желудок, отец, в эту ночь,
Чтоб он не выиграл ненароком!»

Рейнвейн размягчает душу мою.
Сердечный разлад умиряя,
И будит потребность в братской любви,
В утехах любовного рая.

И гонит меня из комнат блуждаты
По улицам опустелым.
И душу тянет к иной душе
И к платьям таинственно белым.

И таешь от неги и страстной тоски
Во власти сладкого плена.
В глазах все кошки серы тогда,
И каждая баба — Елена.

Едва на Дрейбан я свернул,
Взошла луна горделиво,
И я величавую деву узрел,
Высокогрудое диво.

Лицом кругла, и кровь с молоком
Глаза — сапфиры из басен!
Как розы щёки, как вишня рот,
А нос подозрительно красен.

На голове полотняный колпак
Узорчатой вязью украшен.
Он возвышался подобно стене,
Увенчанной тысячью башен.

Льняная туника вплоть до икр,
А икры — горные склоны;
Ноги, несущие мощный круп, —
Дорийские колонны.

В манерах крайняя простота,
Изящество светской свободы.
Сверхчеловеческий зад обличал
Созданье высшей породы.

Она подошла и сказала мне:
«Привет на Эльбе поэту!
Ты всё такой же, хоть много лет
Блуждал по белому свету.

Ты ищешь прекрасные души здесь,
Мечтателей, что с тобою
Любили по этим чудесным местам
Бродить полночной порою?

Их гидра стоглавая, жизнь, унесла,
Пожрала весёлое племя.
Тебе не найти ни старых подруг,
Ни доброе старое время.

Тебе не найти ароматных цветов,
Что сердце обожествляло,
Они цвели, но увяли они,
И буря их листья умчала.

Увяли, осыпались, отцвели,
Судьба растоптала их властно.
Мой друг, таков удел на земле
Всего, что светло и прекрасно».

«Но кто ты? — вскричал я. — Не прошлого ль тень,
Одетая плотью живую?
Откуда ты, странный дивный колосс
Позволь пойти с тобою!»

И женщина молвила, тихо смеясь:
«Поверь, ты сгущаешь краски.
Я девушка с нравственной, тонкой душой,
Совсем иной закваски.

Я не лоретка парижская, нет!
К тебе лишь сошла я открыто.
Богиня Гаммония пред тобой —
Гамбурга меч и защита!

Но ты испуган, ты поражён,
Воитель в лице поэта.
Идём же, иль ты боишься меня?
Уж близок час рассвета».

И я ответил, громко смеясь:
«Ты шутишь, моя красотка!
Ступай вперёд! А я за тобой, —
Хотя бы к чорту в глотку».

24

Не знаю, как я по лестнице шёл
В таком состояньи духа.
Как видно, дело не обошлось
Без помощи доброго духа.

В мансарде Гаммонии время неслось,
Бежали часы чередою.
Богиня была бесконечно мила
И крайне любезна со мною.

«Когда-то, — сказала она, — для меня
Был самым любимым в мире
Певец, который Мессию воспел
На непорочной лире.

Но Клопштока бюст на комоду теперь,
Он получил отставку.
Давно уж сделала я из него
Для чепчиков подставку.

Теперь уголок над кроватью моей
Украшен твоим портретом,
И видишь, свежий лавровый венок
Висит над любимым поэтом.

Ты должен только ради меня
Исправить свои манеры.
В былые дни моих сынов
Ты оскорблял без меры.

Надеюсь, ты бросил своё озорство,
Стал вежливей немного,
Быть может, даже к дуракам
Относишься менее строго.

Но как дошёл ты до мысли такой:
По этой ненастной погоде
Тащиться в северные края?
Зимой запахло в природе!» —

«Моя богиня, — ответил я, —
В глубинах сердца людского
Спят разные мысли; и часто они
Встают из тьмы без зова.

Казалось, всё шло у меня хорошо,
Но сердце не знало жизни,
В нём глухо день ото дня росла
Тоска по далёкой отчизне.

Отраднѣй воздух французской земли
Мне стал тяжѣл и душен.
Хоть на мгновенье стеснённой груди
Был ветер Германии нужен.

Мне трубок немецких грезился дым
И запах торфа и пива,
В предчувствии почвы немецкой нога
Дрожала нетерпеливо.

И ночью вздыхал я в глубокой тоске,
И снова желанье томило
Зайти на Даммтор к старушке моей,
Увидеться с Лотхен милой.

Мне грезился старый седой господин;
Всегда, отчитав сурово,
Он сам же потом защищал меня,
И слёзы глотал я снова.

Услышать его добродушную брань
Мечтал я в глубокой печали.
«Дурной мальчишка!» — эти слова,
Как музыка, в сердце звучали.

Мне грезился голубой дымок
Над трубами домиков чинных,
И нижнесаксонские соловьи,
И тихие липы в долинах.

Я грустно мечтал о тех площадях,
О перепутьях страданий,
Где я влачил непосильный крест
И тернии юности ранней.

Хотелось поплакать мне там, где я
Горчайшими плакал слезами.
Не эта ль смешная тоска названа
Любовью к родине нами?

Ведь это только болезнь. И о ней
Я людям болтать не стану.
С невольным стыдом я скрываю всегда
От публики эту рану.

Одни негодяи, чтоб вызывать
В сердцах умиленья порывы,
Несут напоказ патриотизм,
Его гнилые нарывы.

Бесстыдные нищие, кланчат везде
Подачку — на грош хотя бы!
Популярность! Вот высшее счастье для них!
Вот Менцель и все его швабы!

Богиня, сегодня я нездоров,
Настроен сентиментально,
Но я слегка послежу за собой,
И это пройдёт моментально.

Да, я нездоров, но ты бы могла
Настроить меня по-иному.
Согрей мне хорошего чаю стакан
И влей для крепости рому».

25

Богиня мне приготовила чай
И рому подмешала.
Сама она лишь ром пила,
А чай не признавала.

Она оперлась о моё плечо
Своим головным убором
(Последний при этом помялся слегка)
И молвила с нежным укором:

«Как часто с ужасом думала я,
Что ты один, без надзора,
Среди фривольных французов живёшь —
Любителей всякого вздора.

Ты водишься с кем попало, идёшь,
Куда б ни позвал приятель.
Хоть бы при этом следил за тобой
Хороший немецкий издатель!

Там столько соблазна от разных сильфид.
Они прелестны и притки, —
Но легко и здоровье и внутренний мир
Потерять от такой сильфидки.

Не уезжай, останься у нас,
Здесь чистые, строгие нравы,
И в нашей среде благочинно цветут
Цветы невинной забавы.

Тебе понравится нынче у нас,
Хоть ты известный повеса,
Мы развиваемся, — ты сам
Найдёшь следы прогресса.

Цензура смягчилась. Гофман стар.
В предчувствии близкой кончины
Не станет он так беспощадно кромсать
Твои «Путевые картины».

Ты сам и старше и мягче стал.
Ты многое понял на свете.
Быть может, и прошлое наше теперь
Увидишь в лучшем свете.

Ведь слухи об ужасах прошлых дней
В Германии — ложь и витийство.
От рабства, тому свидетель Рим,
Спасает самоубийство.

Свобода мысли была для всех,
Не только для высшей знати,
Ведь ограничен был лишь тот,
Кто выступал в печати.

У нас никогда не царил произвол,
Опасного демагога
Лишить кокарды мог только суд,
Судивший честно и строго.

Так плохо в Германии не жилось,
Хоть времена были круты.
Поверь, в немецкой тюрьме человек
Не голодал ни минуты.

Как часто в прошлом видели мы
Прекрасные проявления
Высокой веры, покорности душ.
А ныне — неверье, сомненье.

Практической трезвостью внешних свобод
Мы идеал погубили,
Всегда согревавший наши сердца,
Невинный, как грёзы лилий.

И наша поэзия гаснет; она
Вступила в пору заката.
С другими царями скоро умрёт
И чёрный царь Фрейлиграта.

Наследник будет есть и пить,
Но коротки милые сказки,
Уже готовится новый спектакль,
Идиллия у развязки!

О, если б умел ты молчать, я бы здесь
Раскрыла пред тобою
Все тайны мира, — путь времён,
Начертанный судьбою.

Ты жребии смертных мог бы узреть,
Узнать, что всеильною властью
Назначил Германии в будущем рок, —
Но, ах, ты болтлив, к несчастью!» —

«Ты сулишь величайшую радость мне,
Богиня! — вскричал я, ликуя. —

Покажи мне Германию будущих дней,
Я мужчина, и тайны храню я!

Я клятвой любую поклясться готов,
Известной земле или небу,
Хранить как святыню тайну твою,
Диктуй же клятву, требуй!»

И строго богиня ответила мне:
«Ты должен поклясться тем самым,
Чем встарь клялся Элиазар,
Прощаясь с Авраамом.

Подними мне подол и руку свою
Положи мне на чресла, под платье,
И дай мне клятву скромным быть
И в слове и в печати».

Торжественный миг! Я овеян был
Минувших столетий дыханьем,
Клянясь ей клятвою отцов,
Завещанной древним преданьем.

Я чресла богини обнял рукой,
Подняв над ними платье,
И дал ей клятву скромным быть
И в слове и в печати.

26

Богиня раскраснелась так,
Как будто ей в корону
Ударил ром. Я с улыбкой внимал
Её печальному тону.

«Я старюсь. Тот день, когда Гамбург возник,
Был днём моего рожденья.
В ту пору царица трески, моя мать,
До Эльбы простёрла владенья.

Carolus Magnus — мой славный отец —
Давно похищен могилой.
Он даже Фридриха прусского мог
Затмить умом и силой.

В Аахене — стул, на котором он был
Торжественно коронован,

А стул, служивший ему по ночам,
Был матери, к счастью, дарован.

От матери стал он моим; хоть на вид
Он привлекателен мало,
На всё состоянье Ротшильда я
Мой стул бы не променяла.

Вот там он, видишь, стоит в углу, —
Он очень стар и беден,
Подушка сиденья изодрана вся,
И молью верх изъеден.

Но подойди к нему, сними
Подушку — и в сиденьи,
Увидишь круглую дыру,
Под нею сосуд в углубленьи.

То древний сосуд магических сил,
Кипящих вечным раздором,
И если ты голову сунешь в дыру,
Предстанет грядущее взорам.

Грядущее родины бродит там,
Как волны смутных фантазмов,
Но не пугайся, если в нос
Ударит вонью миазмов».

Она окончила, странно смеясь,
Но я, не смутясь душою,
Ринулся жадно к страшной дыре
И влез в неё головою.

Что я увидел — не скажу,
Я дал ведь клятву всё же!
Мне лишь позволили говорить
О запахе, — но, боже!

Меня и теперь воротит всего
При мысли о смраде проклятом,
Который лишь прологом был, —
Смесь юфти с тухлым салатом.

И вдруг! О, что за дух пошёл!
Как будто в сток вонючий
Из тридцати шести клоак
Навоз валили кучей.

Мерзавцы, сгнившие давно,
Смердя историческим смрадом,
Полунегодяи, полумертвецы,
Сочились последним ядом.

И даже святого пугала труп,
Как призрак, встал из гроба.
Налитая кровью народов и стран,
Раздулась гнилая утроба.

Чумным дыханьем весь мир отравить
Ещё раз оно захотело,
И черви густою жижей ползли
Из почерневшего тела. —

И каждый червь был новый вампир,
И гнусно смердел, издыхая,
Когда в него целительный кол
Вонзала рука роковая.

Зловонье крови, вина, табака
Верёвкой кончивших гадин, —
Такой аромат испускает труп
Того, кто при жизни был смраден.

Зловонье пуделей, мопсов, хорьков,
Лизавших плевки господина,
Околевавших за трон и алтарь
Благочестиво и чинно.

То был живодёрни убийственный смрад,
Удушье гнили и мора;
Средь падали издыхала там
Светил исторических свора.

Я помню ясно, что сказал
Сен-Жюст в Комитете спасенья:
«Ни в розовом масле, ни в мускусе нет
Великой болезни целенья».

Но этот грядущий немецкий смрад —
Я утверждаю смело —
Превысил всю, мне привычную, вонь;
В глазах у меня потемнело.

Я рухнул без чувств и потом, пробудясь
И с трудом разобравшись в картине,
Увидел себя на широкой груди
В объятиях богини.

Блистал её взор, пылал её рот,
Дрожало могучее тело.
Вакханка, ликуя, меня обняла
И в диком экстазе запела:

«Есть в Фуле король, — свой бокал золотой,
Как лучшего друга, он любит,
Тотчас пускает он слезу,
Чуть свой бокал пригубит.

И просто диво, что за блажь
Измыслить он может мгновенно, —
Издаст, например, неотложный декрет:
Тебя под замок да на сено.

Не ездь на север, берегись короля,
Что в Фуле сидит на престоле,
Не суйся в пасть ни жандармам его,
Ни исторической школе.

Останься в Гамбурге! Пей да ешь,
Душе и телу отрада!
Вот вина, вот устрицы нынешних дней, —
Что нам до грядущего смрада!

Накрой же сосуд, чтоб смрад не мешал
Блаженству любовных обетов!
Так страстно женщиной не был любим
Никто из немецких поэтов!

Тебя люблю я, целую тебя,
Меня чарует твой гений,
Он душу мне заморозил
Игрой волшебных видений.

Я слышу рожки ночных сторожей,
И пенье, и бубна удары.
Целуй же меня! То свадебный хор:
Любовников славят фанфары.

Въезжают вассалы на гордых конях,
Пред каждым пылает светильник.
И радостно факельный танец гремит,
Целуй меня, собутыльник!

Идёт милосердный и мудрый сенат, —
Торжественней не было встречи!
Бургомистр откашливается в платок,
Готовясь к приветственной речи.

Дипломатический корпус идёт,
Блистают послы орденами.
От имени дружественных держав
Они выступают пред нами.

Идут раввины и пасторы вслед —
Духовных властей депутаты.
Но, ах! и Гофман, твой цензор, идёт,
Он с ножницами, проклятый!

И ножницы уже звенят,
Он ринулся озверело
И вырезал лучшее место твоё —
Кусок живого тела».

27

О дальнейших событиях той ночи, друзья,
Мы побеседуем с вами
Когда-нибудь в нежный лирический час,
Погожими летними днями.

Блудливая свора старых ханжей
Редает, милостью бога.
Они гниют от болячек лжи
Идохнут, — туда им дорога.

Растёт поколение новых людей
Со свободным умом и душою,
Без наглого грима и подлых грешков, —
Я всё до конца им открою.

Цветёт молодёжь — она поймёт
И гордость и щедрость поэта.

Она возрастёт в жизнетворных лучах
Его сердечного света.

Безмерно в любви моё сердце, как свет,
И непорочно, как пламя;
Настроена светлая лира моя
Чистейших граций перстами.

На этой лире бряцал мой отец,
Творя для эллинской сцены, —
Покойный мастер Аристофан,
Возлюбленный Камены.

На этой лире он некогда пел
Прекрасную Базилею —
Её Пайстетерос в жёны избрал,
Вознёсся на небо с нею.

В последней главе поэмы моей
Я подражаю местами
Финалу «Птиц». Это лучшая часть
В лучшей отцовской драме.

«Лягушки» тоже прекрасная вещь.
Теперь без цензурной помехи
Их на немецком в Берлине дают
Для королевской потехи.

Бесспорно, пьесу любит короли!
Он поклонник античного строя.
Отец короля предпочитал
Квакушек нового кроя.

Бесспорно, пьесу любит короли!
Но живи ещё автор, — признаться,
Я не советовал бы ему
В Пруссию лично являться.

На Аристофана живого у нас
Нашли бы мигом управу.
Жандармский хор проводил бы его
За городскую заставу.

Веленьем монарха науськали б чернь
Хвостом не вилять, а кусаться.

Полиции был бы отдан приказ
В тюрьме сгноить святотатца.

О король, я желаю тебе добра,
Послушай благого совета!
Как хочешь мёртвых поэтов чти,
Но щади живого поэта!

Берегись, не тронь живого певца!
Слова его — меч и пламя.
Страшней, чем им же созданный Зевс,
Разит он своими громами.

И старых и новых богов оскорбляй,
Всех жителей горнего света
С великим Иеговой во главе, —
Не оскорбляй лишь поэта.

Конечно, боги карают того,
Кто был в этой жизни греховен,
Огонь в аду нестерпимо горяч,
И серой смердит от жаровен.

Но надо усердно молиться святым:
Раскрой карманы пошире,
И жертвы на церковь доставят тебе
Прощенье в загробном мире,

Когда ж на суд низойдёт Христос
И рухнут врата преисподней,
Иной проворный молодчик тайком
Улизнёт от десницы господней.

Но есть и другая геенна. Никто
Огня не смирит рокового.
Там бесполезны и ложь и мольба,
Бессильно прощенье Христово.

Ты знаешь безжалостный Дантов ад?
Звенящие гневом терцины?
Того, кто поэтом на казнь обречён,
И бог не спасёт из пучины.

Над буйно поющим пламенем строф
Не властен никто во вселенной.
Так берегись! Иль в огонь мы тебя
Низвергнем рукой дерзновенной.



III

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ

НЕМЕЦКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Немецкое средневековье не лежит сгнившим в гробу, наоборот, его воскрешает иногда злое привидение, и среди белого дня оно вступает в нашу среду и высасывает из нас горячую кровь и жизнь. (*«Романтическая школа».*)

* * *

Французы давно вышли из средневековья, они смотрят на него спокойно... Мы, немцы, сидим ещё в нём по шею, в этом средневековье: мы боремся ещё с его одряхлевшими представителями... (*«Духи стихий».*)

* * *

У нас, немцев, летопись средних веков не закончена: самые новейшие её страницы ещё залиты кровью наших близких и друзей, и эти блестящие панцыри ещё прикрывают живые тела наших палачей. (*«Духи стихий».*)

* * *

Это враги моего отечества, пресмыкающаяся сволочь, лицемерная, лживая и непреодолимо трусливая. Они

шипят в Берлине, они шипят в Мюнхене; гуляя по бульвару Монмартр ¹¹, ты вдруг чувствуешь укусы в пятку. Но мы раздавим ей голову, этой старой змее. Это партия лжи, это клеветы деспотизма, восстановители всякого убожества, всех ужасов и нелепостей прошлого. (*«Романтическая школа».*)

ПАТРИОТИЗМ ТЕВТОНОМАНОВ

...наши так называемые германские патриоты — тупые поборники узкого национализма. (*Предисловие к французскому изданию «Лютеции».*)

* * *

Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи. Под этим патриотизмом, однако, не надо понимать чувство, носящее это имя здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается в том, что сердце его согревается от этой теплоты, расширяется, раскрывается, так что своей любовью оно охватывает уже не только ближайших родичей, но всю Францию, всю страну цивилизации: патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его суживается, что оно коробится, как кожа на морозе, что он ненавидит чужеземное, что он хочет уже быть не космополитом, не европейцем, а только узеньким немцем. (*«Романтическая школа».*)

* * *

Здесь же, в Вартбурге ¹², прошедшее гнусило свои мрачные вороньи песни, и при свете факелов говорились и делались глупости, достойные самого тупого средневековья...

В Вартбурге... господствовало ограниченное тевтономанство, много и визгливо говорившее о любви и вере, но любовь которого была не что иное, как ненависть к чужеземцам, а вера состояла только в отсутствии разума, и которое в своём невежестве не сумело придумать ничего лучше сожжения книг! Я говорю: в невежестве, потому что в этом отношении та прежняя оппозиция, которая известна нам под именем «старонемецкой», была ещё замечательней оппозиции новой, несмотря на то что и эта последняя не особенно

блещет учёностью. Именно тот, кто сделал в Вартбурге предложение сжигать книги, был в то же время самым большим невеждой, какой только когда-либо гимнастировал на земле и издавал старонемецкие варианты. По-настоящему, этому субъекту следовало бросить в огонь и латинскую грамматику Бредера!

Странно! Эти так называемые старогерманцы, несмотря на своё невежество, заимствовали у старонемецкой учёности известный педантизм, столь же отвратительный, сколь и смешной. С каким мелочным буквоедством они рассуждали о признаках немецкой национальности! Где начинается германец? Где он оканчивается? Имеет ли немец право курить табак? — Нет! — утверждало большинство. Имеет ли немец право носить перчатки? — Да, но не иначе как из буйволово́й кожи. (Грязный Масман¹³, конечно, вовсе не носил перчаток.) Но пиво немец всегда может пить, — и должен это делать как истинный сын Германии, потому что Тацит очень определённо говорит о германской *cerevisia*.

Немало удивился я однажды, когда увидел в гёттингенском пивном погребе, с какою основательностью мои старогерманские друзья изготовляли проскрипционные списки к тому дню, в который они должны были, по их расчётам, получить верховную власть. Каждый, происходивший хотя бы в седьмом колене от француза, еврея или славянина, приговаривался к изгнанию. Кто написал малейшую заметку против Яна или вообще против старогерманских нелепостей, мог готовиться к смертной казни, и притом казни топором, а не гильотиной, несмотря на то, что эта последняя — собственно немецкое изобретение и уже в средние века была известна под названием «итальянской петли»...

Сошли ли совсем со сцены эти мрачные дураки, так называемые германофилы? — Нет...

Эти возрождённые германские германофилы составляли меньшинство, но их фанатизм, имевший скорее религиозный характер, легко пересиливал фанатизм, высиженный только разумом; затем в их распоряжении находятся те могущественные формулы, с помощью которых можно околдовать грубую чернь: слова «отчизна», «Германия», «вера отцов» и т. д. наэлектризовывают необразованную массу гораздо сильнее, чем слова «человечество», «космополитизм», «разум сыновей», «истина».

Этим я хочу сказать, что представители национализма пустили на немецкой почве корни гораздо глубже тех, которые пущены представителями космополитизма, и что эти последние, по всей вероятности, уступят в борьбе первым, если не поспешат предупредить их... итальянской петлёй. («Людвиг Берне».)

* * *

...возникла чёрная секта, измыслившая самый дурацкий бред о германстве, народности и исконном свинстве, и предлагала осуществить этот бред ещё более дурацкими средствами. Они не были невежественны, потому что они всё прочитали. Они были многосторонни в ограниченности, это были не какие-нибудь французские поверхностные демагоги. Они были основательны, критичны, историчны. Они могли с точностью определить степень родства, позволяющую при новом порядке вещей устранить тебя с пути; они расходились только в методах казни, то есть одни полагали, что меч есть самый старонемецкий способ, другие, напротив, утверждали, что всё-таки можно применить гильотину, так как она есть немецкое изобретение и вообще называлась «французским капканом». («Город Лукка». Варианты.)

* * *

Мой меч, о́друг мой старый,
Что значит блеск твой ярый? и т. д.

Как видите, стихи Теодора Кернера распеваются по-прежнему. Конечно, не в кругах с хорошим вкусом, где давно уже открыто признали исключительной удачей то, что в 1814 году французы не понимали по-немецки и не могли читать эти вялые, пустые, плоские, прозаические стихи, так воодушевлявшие нас, добрых немцев. Но эти освободительные вирши часто ещё декламируются и распеваются на задуманных вечеринках, где греются зимою у невинного огонька тлеющей соломы, потрескивающей в этих патриотических песнях; и как престарелый белый конь великого Фридриха вновь юношески становился на дыбы и проделывал всякие воинские маневры, так подымается высокое чувство в сердце иной берлинки, когда она слышит песню Кернера; она грациозно прижимает руку к груди, испускает бездонный вздох упоения, мужественно по-

дымается, как Иоганна де Монфокон¹⁴, и говорит: «Я — немецкая девственница».

Я замечаю, мой милый, вы смотрите на меня кислотовато из-за горького, язвительного тона, каким я иногда говорю о вещах, которые дороги и должны быть дороги другим людям. Но я не могу иначе. Слишком пылает моя душа жаждой истинной свободы, чтобы не охватил меня гнев, когда я смотрю на наших мелко-травчатых, великоречивых героев свободы в их сером убожестве; и подчас почти судорожно вспыхивает во мне желание сорвать бесстрашной рукой ореол с головы старой лжи и подёргать самого льва за шкуру, потому что я чую скрывающегося под нею осла. (*«Письма из Берлина».*)

* * *

...сосед мой с другой стороны, грейфсвальдец... стал утверждать, что немецкая жизненность и простота ещё не угасли, и, угрожая себе в грудь, осушил громадную кружку белого вина. Швейцарец сказал: «Ну, ну!» Однако чем успокоительнее произносил это швейцарец, тем яростней затевал ссору грейфсвальдец. То был человек из эпохи, когда вши благоденствовали, а парикмахеры боялись умереть с голоду. Его длинные волосы болтались, на нём был рыцарский берет, чёрный сюртук старонемецкого покроя, грязная рубашка, исполнявшая одновременно обязанности жилетки, и под нею — медальон с клочком волос, принадлежавших белому блохеровскому коню. С виду это был дурак в натуральную величину. (*«Путешествие по Гарцу».*)

* * *

...Иосиф Геррес¹⁵ известен в Германии под названием «четвёртый союзник». Так назвал его один французский журналист в 1814 году, когда он проповедывал, по поручению Священного союза, ненависть против Франции. Этим комплиментом он питается до сего дня. Но в самом деле, никто не умел так сильно, как он, разжигать посредством национальных воспоминаний ненависть немцев к французам; и журнал, который он издавал для этой цели, «Рейнский Меркурий», полон таких закликательных формул, которые могли бы, в случае новой войны, произвести ещё некоторое действие. С тех пор г. Геррес был почти забыт. Государям он больше не был нужен, и они выгнали его. Так как он стал по этому случаю ворчать, то его даже подвергли пресле-

дованию. С ним вышло, как с испанцами на острове Кубе, когда они, воюя с индейцами, выучили своих больших собак набрасываться на голых дикарей и рвать их в клочья; однако, когда кончилась война и собаки, которым по вкусу пришлось человеческое мясо, стали по временам хватать за икры своих хозяев, то последним пришлось силой избавиться от своих кровавых псов. Когда г. Герресу, преследуемому государями, некого было больше кусать, он бросился в сбъятия иезуитов. Им он служит вплоть до нынешнего часа и представляет собою главную опору католической пропаганды в Мюнхене. Здесь видел я его несколько лет тому назад в расцвете его унижения. (*Романтическая школа*.)

ПОРТРЕТ МАСМАНА

Я оставляю открытым вопрос, в праве ли эта фигура утверждать, будто голова её имеет в себе что-то человеческое и что поэтому она юридически в праве выдавать себя за человека. Я бы принял эту голову скорее за обезьянью; лишь из вежливости согласен я признать её человеческою. Головной убор его состоял из суконной шапки, фасоном схожей со шлемом Мамбрин¹⁶, а жёсткие чёрные волосы спадали длинными прядями на лоб с пробором спереди à l'enfant*. На эту переднюю часть головы, выдававшую себя за лицо, богиня пошлости наложила свою печать, притом с такой силою, что находившийся там нос оказался почти расплюснутым; опущенные вниз глаза, казалось, напрасно искали носа и этим были крайне опечалены; вонючая улыбка играла вокруг рта, который был чрезвычайно обольстителен и благодаря некоторому поразительному сходству мог вдохновить нашего греческого лжепоэта на нежнейшие газелы. Одежда состояла из старонемецкого кафтана, правда, несколько видоизменённого сообразно с настоятельнейшими требованиями новоевропейской цивилизации, но покроем всё ещё напоминавшего тот, который был на Армии в Тевтобургском лесу и первобытный фасон которого сохранён был каким-то патриотическим союзом портных с тою же таинственною преемственностью, с какою сохранялись некогда готические формы в архитектуре мистическим цехом каменщиков. Добела

* Как у ребёнка (*франц.*).

вымытая тряпка, являвшая глубоко-знаменательный контраст с открытою старонемецкою шеєю, прикрывала воротник этого удивительного сюртука; из длинных рукавов торчали длинные грязные руки, между рук помещалось скучное долговязое тело, под которым болтались две короткие ноги; вся фигура представляла горестно-смешную пародию на Аполлона Бельведерского. (*«Путешествие от Мюнхена до Генуи».*)

* * *

«...он (Масман. — Я. М.) пригоден на всё, где требуются прыжки, пролазничество, чувствительность, обжорство, благочестие, много древненемецкого, мало латыни и полное незнание греческого. Он в самом деле очень хорошо прыгает через палку, составляет таблицы всевозможных прыжков и списки всевозможных разночтений старонемецких стихов. К тому же, он является представителем патриотизма, не будучи ни в малейшей мере опасным. Ибо известно очень хорошо, что он во-время отстранился от старонемецких демагогов, в среде которых когда-то случайно обретался, в тот момент, когда их дело стало несколько опасным и перестало соответствовать христианским наклонностям его мягкого сердца. Но с той поры, как опасность прошла, мученики пострадали за свои убеждения и почти все сами отказались от них, так что пламеннейшие наши цырюльники снимали свои немецкие сюртуки, — с той поры и начался настоящий расцвет нашего осторожного спасителя отечества; он один сохранил костюм демагога и связанные с ним обороты речи; он всё ещё превозносит херуска Арминия и госпожу Туснельду¹⁷, как будто он — их белокурый внук. Он всё ещё хранит свою германско-патриотическую ненависть к романскому вавилонству, к изобретению мыла, к языческо-греческой грамматике Тирша¹⁸, к Квинтилию Вару, к перчаткам и ко всем людям, обладающим приличным носом; так и остался он ходячим памятником минувшего времени и, подобно последнему моикану, пребывает в качестве единственного представителя целого могучего племени, он — последний демагог. Итак, вы видите, что в новых Афинах, где ещё очень ощущается недостаток в демагогах, он может нам пригодиться; в его лице мы имеем прекрасного демагога, к тому же столь ручного, что он облизнет любую плевательницу, жрёт из рук орехи, каштаны, сыр, сосиски, вообще всё, что дадут; а так как

он единственный в своём роде, то у нас есть ещё особое преимущество; впоследствии, когда он подохнет, мы набьём его чучело и в качестве последнего демагога сохраним для потомства с кожей и волосами. Но, пожалуйста, не говорите об этом профессору Лихтенштейну¹⁹ в Берлине, иначе он затребует его в свой зоологический музей, что может послужить поводом к войне между Пруссией и Баварией, ибо мы ни в коем случае не отдадим его. Уже англичане нацелились на него и предлагают за него две тысячи семьсот семьдесят семь гиней, уже австрийцы хотели обменять на него жирафа, но наше министерство, говорят, заявило, что мы ни за какую цену не продадим последнего демагога, он составит когда-нибудь гордость нашего естественно-исторического кабинета и украшение нашего города». (*«Путешествие от Мюнхена до Генуи».*)

Н Е М Е Ц К И Е П О Г Р О М Ш И К И

Ненависть к евреям начинается лишь с романтической школой, с её любованием средними веками, с её католицизмом и дворянством, усиленными тевтономанией. (*«Мысли и афоризмы».*)

* * *

Великое гонение на евреев началось с крестовых походов и неистовствовало всего яростней в середине четырнадцатого века, на исходе великой чумы, причину коей, как и всякого другого общественного бедствия, приписывали евреям, утверждая, что они навлекли на себя гнев божий и с помощью прокажённых отравляли колодцы. Взбудораженная чернь, — в особенности орды флагеллянтов, полунагие мужчины и женщины, которые, каясь, бичевали себя и, распевая безумные гимны в честь богоматери, прошли Рейнскую область и всю остальную Южную Германию, — умертвила тогда многие тысячи евреев, или подвергла их пыткам, или насильственно крестила. Другое обвинение, которое с давних времён, на протяжении всего средневековья, до начала прошлого столетия, стоило евреям много крови и страха, была затасканная, до тошноты повторявшаяся в хрониках и легендах басня, что евреи похищают освященные гости и до тех пор пронзают их ножом, пока не истечёт кровь, а на Пасху закалывают христианских детей, дабы употребить их кровь в ночном богослужении. Евреи, достаточно ненавидимые за

свою веру, своё богатство и свои долговые книги, в этот праздник были всецело в руках своих врагов, которые слишком легко могли погубить их, распуслав слух о таком детоубийстве, быть может, даже тайно подбросив кровавый детский труп в опальный дом еврея, а ночью напав на молящееся еврейское семейство; и вот тогда убивали, грабили и крестили... («Бахерахский раввин».)

ПРУССИЯ

...О Пруссии мы смеем говорить в ином тоне. Пусть учёные холопы на берегах Шпрее грезят о великом императоре Борусского ²⁰ государства и провозглашают гегемонию и протекторат Пруссии. Но до сих пор длинным пальцам Гогенцоллернов не удалось ещё схватить корону Карла Великого и засунуть её в мешок вместе со множеством награбленных драгоценностей из Польши и Саксонии. Корона Карла Великого висит ещё слишком высоко, и я очень сомневаюсь, чтобы она спустилась когда-либо на игривую голову государя, украшенного золотыми шпорами, которого его бароны уже чтут как будущего восстановителя рыцарства. Я скорее думаю, что его королевское высочество, вместо того чтобы стать преемником Карла Великого, станет всего лишь преемником Карла X и Карла Брауншвейгского ²¹.

Правда, ещё недавно многие друзья отечества желали расширения Пруссии и надеялись увидеть её королей государями объединённой Германии. Даже любовь к отечеству им удалось поймать на удочку, и появился прусский либерализм, и уже друзья свободы доверчиво обращали взоры к берлинским липам. Что до меня, я никогда не разделял этого доверия. Напротив, я с тревогой созерцал этого прусского орла, и пока другие восторгались, как смело он глядит на солнце, я всё более пристально следил за его когтями. Я не верил этой Пруссии, этому долговязому лицемерно набожному герою в гамашах и с просторным желудком, большою пастью и капральской палкой, которую, прежде чем ударить ею, он опускает в святую воду. Мне не нравилась эта философически-христианская солдатчина, эта смесь белого пива, обмана и песка. Противна, глубоко противна была мне эта Пруссия, напыщенная, лицемерная, ханжеская Пруссия, этот Тартюф среди государств. (*Предисловие к «Французским делам».*)

* * *

...я советую вступить в открытую войну с Пруссией на жизнь и на смерть. Добром здесь ничего не добьёшься. (*Письмо Юлиусу Кампе от 28 февраля 1842 г.*)

* * *

К Пруссии я теперь тоже не слишком расположен, но только из-за всеобщей лживости, столица которой — Берлин. Меня тошнит от либеральных Тартюфов. (*Письмо Фарнгагену фон Энзе от 1 апреля 1831 г.*)

* * *

Я с огромной жадностью прочёл шесть прусских томов Фейзе²² и был бы очень рад, если бы вы прислали мне следующие за ними австрийские томы. Теперь я начинаю верить, что мы, немцы, получаем, наконец, толковую национальную историю. Книга Фейзе кладёт ей начало... Дорога проложена, и немцы смогут, наконец, увидеть своих властителей лицом к лицу. Какой драгоценный зверинец оригинальнейших скотов. (*Письмо Юлиусу Кампе от 7 июня 1852 г.*)

* * *

Ах, вся история нашего времени — лишь охотничья история. Это время охоты на либеральные идеи, и высокопоставленные господа увлечены ею больше, чем когда-либо, и их ливрейные егеря палят во всякое честное сердце, где укрылись либеральные идеи, и нет недостатка в натасканных собаках, которые, как добрую добычу, подбирают окровавленное слово. Берлин выкармливает лучшую свору, и я слышу уже, как яростно лает вся стая на эту книгу. (*Предисловие к книге «Кальдорф о дворянстве».*)

* * *

...можете ли вы, например, перепечатать в полном собрании сочинений и сатиры, хотя бы на прусское и баварское хамьё? (*Письмо Юлиусу Кампе от 9 июля 1848 г.*)

ГЕРМАНСКАЯ РЕАКЦИЯ

То было подавленное, арестованное время в Германии. (*«Английские отрывки».*)

* * *

То было мрачное время в Германии: одни только совы, цензурные указы, запах казематов, романы о самоотречении, вахтпарады, ханжество, тупоумие. (*«Французские дела».*)

* * *

Она (мадам де Сталь²³.—*Л. М.*) говорит о нашей честности, и о наших добродетелях, и о нашей образованности, — она упустила из виду наши тюрьмы, наши публичные дома, наши казармы. (*«Мысли и афоризмы».*)

* * *

Германия всегда была большим конским заводом государей, который должен снабжать все соседние царствующие дома необходимыми им матками и производителями. (*«Путешествие по Гарцу».*)

* * *

Я покинул Гёттинген, поискал убежища в Гамбурге, но не нашёл ничего, кроме врагов, клеветы и злобы. Право, у меня слишком слабые нервы для того, чтобы оставаться в Германии. (*Письмо Карлу Иммерману от 14 октября 1826 г.*)

* * *

Ах, великая парижская неделя! Правда, дух свободы, которым повеяло оттуда в Германию, опрокинул кое-где ночники, так что красные завесы кое-каких тронов загорелись и золотые венцы накалились под вспыхнувшими ночными колпаками, но старые соглядатаи, которым вверен полицейский надзор над Германией, уже тащат вёдра с водой и приносятся с тем большею бдительностью и тайком куют более крепкие цепи, и я замечаю уже, как незримо воздвигаются более непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа. (*«Английские отрывки».*)

* * *

События в Германии очень неприятно влияют на моё настроение. Какое отвратительное ничтожество! (*Письмо Максимилиану Гейне от 3 декабря 1848 г.*)

В Германии взяли верх наши враги. Так называемая «национальная партия», тевтономаны изощряются в заносчивости, в равной мере смешной и дикой, бахвальство их неслыханно.

Они грезят о том, чтобы в свою очередь сыграть главную роль в мировой истории, чтобы присоединить к германской национальности свои затерянные на востоке и западе племена, и если вы не поспешите отдать им Эльзас, они не преминут потребовать у вас также и Лотарингию, и бог знает где останутся их варварские притязания. Война — их конёк, и в этом отношении они солидарны с нашими князьями, которые с большой охотой направят на иностранцев воинственный и боевой пыл своих готовых к бунту подданных. С берегов Рейна я получил очень печальные новости; преданные друзья Франции, которые двадцать лет работают над разрушением прусского владычества в рейнских провинциях, не осмеливаются больше вести борьбу со вторжением национального духа и облакаются в цвета Германской империи. (*Письмо к Ж. Дюбоше от 29 августа 1848 г.*)

* * *

...Эльзас и Лотарингию я, конечно, не могу столь же легко включить в состав Рейнских земель, как вы это делаете, потому что люди в этих землях сильно тяготеют к Франции из-за прав, которые они приобрели благодаря французскому государственному перевороту, из-за тех законов о равенстве и свободных учреждениях, которые очень приятны буржуазному духу и однако же оставляют желать ещё многого желудкам широких масс. Впрочем, эльзасцы и лотарингцы снова примкнут к Германии, когда мы завершим то, что начали французы — великое дело революции: всеобщую демократию! — когда мы их превзойдём на деле, как это уже сделали в области мысли, когда мы вознесёмся до крайних её выводов, когда мы уничтожим лакейство до его последней лазейки — неба, когда мы спасём из унижения бога, который живёт на земле в человеке, когда мы станем освободителями этого бога, когда мы уничтожим бедность по всему лицу земли, когда мы снова восстановим в достоинстве бедный, обездоленный народ, и осмеянный гений, и обесчещенную красоту... (*Предисловие к «Германии».*)

* * *

Но если этот ужас всё же наступил бы, и Франция, родина цивилизации и свободы, погибла бы жертвой легкомыслия и предательства, и картавая речь постсдамских офицеров снова раздалась бы на улицах Парижа, и грязные тевтонские сапоги снова осквернили бы священные мостовые бульваров, и Пале-Рояль снова завонял бы юфтью... (*«Французские дела».*)

* * *

Но что мне больше всего понравилось в парижанах, — это вежливость их в обращении и аристократическая внешность их. О сладкий ананасный аромат вежливости! Как благодетельно освежил ты мою большую душу, которая так наглоталась в Германии табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости! Как мелодии Россини звучали в моих ушах изысканные извинения француза, лишь слегка толкнувшего меня на улице в день моего прибытия в Париж. Я был почти испуган этой сладостной вежливостью, — я, привыкший к немецки-грубым толчкам в бок без каких-либо извинений. В первую неделю моего пребывания в Париже я нарочно старался ходить так, чтобы меня толкали, лишь для того, чтобы насладиться музыкой извинительных речей. (*«Флорентийские ночи».*)

Моя душа, бедная мимоза, так съёжившаяся от боязни отечественной грубости, вновь раскрылась навстречу этим приветливым звукам французской вежливости. Бог дал нам язык для того, чтобы говорить нашим ближним приятное. (*«Признания».*)

* * *

Вы, французы, должны, наконец, понять, что ужасы — не по вашей части и что Франция — неподходящая почва для привидений этого рода. Когда вы заклинаниями вызываете привидения, мы только смеёмся. Да, мы, немцы, не улыбающиеся от самых весёлых ваших острот, мы тем сердечнее смеёмся при ваших страшных рассказах о привидениях. Ибо ваши привидения — это всегда французы, но в словах «французское привидение» — какое противоречие! В слове «привидение» заключено так много одинокого, неприглядного, немецкого, молчаливого; в слове «француз-

ское» — так много общительного, любезного, французского, говорливого. Как мог бы француз быть привидением, и вообще, как могли бы в Париже существовать привидения, в Париже, в центре европейского общества! Между двенадцатью и часом, в пору, когда искони раз навсегда предоставлено появляться привидениям, всё гремит живейшей жизнью на парижских улицах. В Опере шумит ещё громогласнейший финал, из театров «Жимназ» и «Варьете» стремятся оживлённые толпы; всё это кишит, приплясывает, смеётся, озорничает на бульварах, и все идут на вечер. Каким несчастным должно бы себя чувствовать бедное загробное привидение в этом веселом человеческом потоке! И как мог бы француз, даже мёртвый, сохранить мрачность, необходимую для появления из могилы, когда вокруг него ликует самое пёстрое народное веселье. Сам я, хоть и немец, если бы после смерти мне пришлось здесь, в Париже, бродить привидением, я, разумеется, не смог бы сохранить моего замогильного достоинства, если бы где-нибудь на перекрёстке встретился с одной из тех богинь легкомыслия, которые так восхитительно умеют хохотать вам в лицо. Если бы в Париже в самом деле были и привидения, то я убеждён, что, при общительности французов, они бы даже в виде привидений собирались в кружки, устраивали бы балы привидений; они основали бы кафе мертвецов, издавали бы газету мертвецов, парижское обозрение мертвецов, скоро появились бы вечеринки мертвецов, *ou l'on fera de la musique**. Я убеждён, что привидения здесь, в Париже, развлекались бы больше, чем у нас развлекаются живые. Что до меня, то если бы я знал, что можно продолжать существование в качестве привидения в Париже, то я перестал бы бояться смерти; я бы только постарался, чтобы и заключение я был похоронен на Пер-Лашез и чтобы я мог выходить на землю в Париже между двенадцатью и часом. Что за чудесный час! Немецкие земляки, если вы когда-нибудь предете в Париж после моей смерти и встретите меня здесь ночью, не пугайтесь, — я выхожу из земли не на немецкий жутко-злополучный манер, я это делаю скорее для своего удовольствия...

О бедные французские писатели! Вам следовало бы, наконец, понять, что ваши романы ужасов и рассказы о привидениях решительно неуместны в стране, где или

* Где будет музыка (франц.).

совсем нет привидений, или они так же общительно веселы, как и мы, живые люди. Вы кажетесь мне детьми, которые надевают на лицо маску, чтобы пугать друг друга. Это мрачная, жуткая маска, но сквозь отверстия для глаз глядят весёлые детские глазки. Мы, немцы, наоборот, носим иногда приветливую юношескую маску, а из глаз высматривает седая смерть. Вы изящный, любезный, разумный и живой народ, и лишь прекрасное, благородное и человеческое входит в представления вашего искусства. Это понимали уже ваши старые писатели, и вы, новые, тоже в конце концов придёте к этому убеждению. Бросьте всё ужасающее и призрачное. Предоставьте нам, немцам, все ужасы безумства, бреда и чертовщины. Германия более подходящая страна для старых ведьм, мёртвых медвежьих шкур. Лишь по ту сторону Рейна житьё таким привидениям, но никак не во Франции. Когда я ехал сюда, мои привидения сопровождали меня вплоть до французской границы... (*«Романтическая школа».*)

У Ч Ё Н Ы Е Л А К Е И Д Е С П О Т И З М А

Ужасно, как у нас сумели даже рабство сделать болтливым, как немецкие философы и историки утруждают свой мозг, чтобы представить разумным и правомерным всякий деспотизм, как бы он ни был нелеп и несообразен. Честь раба — в молчании, говорит Тацит; эти же философы и историки утверждают противное и в доказательство ссылаются на почётные ленточки в петлицах. (*«Город Лукка».*)

* * *

В то время как наши прежние философы жили в нужде и в лишениях и, ютясь в жалких чердачных комнатушках, измышляли там свои системы, наши теперешние философы облечены в блестящие ливреи власти, они стали государственными философами и занялись изобретением философских оправданий всех интересов государства, на службе у которого состояли. (*«Романтическая школа».*)

* * *

Если бы я был ослом, то меня давно произвели бы, например, в экстраординарные профессора Боннского

университета. (Письмо Моисею Мозеру от 11 января 1825 г.)

...жители Гёттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, каковые четыре сословия, однако, далеко не строго различаются между собою. Сословие скотов — преобладающее. Слишком долго пришлось бы перечислять здесь имена всех студентов и всех профессоров, ординарных и не ординарных; к тому же в данный момент не все студенческие имена сохранились в моей памяти, а среди профессоров есть ещё и вовсе не имеющие имени. Число гёттингенских филистеров должно быть очень велико: их — как песку или, лучше сказать, как грязи на берегу моря; поистине, когда я утром увидел их у двери академического сада, с грязными лицами и белыми счетами, я не мог понять, как это бог натворил столько сволочи. (*Путешествие по Гарцу*.)

РАБСКОЕ ВЕРНОПОДДАННИЧЕСТВО

Немец подобен рабу, который повинуется своему господину без воздействия оков, без кнута, по первому его слову, даже по первому взгляду. Рабство — в нём самом, в его душе; неизменнее, чем материальное рабство, — рабство, перешедшее в сознание. (*Мысли и афоризмы*.)

* * *

Если, однако, раб, освобождённый, наконец, законом, ни за что всё-таки не хочет покинуть дом своего господина, то Моисей повелел такого неисправимого раболепного негодяя прибить за ухо к косяку господского дома и, опозоренного таким образом, держать в рабах пожизненно. О Моисей, учитель наш, Моше Рабену, величавый борец против рабства, подай мне молоток и гвозди, чтобы я мог наших благодусных рабов в чёрно-красно-золотой ливрее пригвоздить за их длинные уши к Бранденбургским воротам! (*Признания*.)

* * *

Я не уверен, по мне кажется, что всякий раз, когда сойдутся деспотизм и рабство, слышишь немецкие слова и видишь немецкое терпение. (*Город Лукка*.)
чанты.)

* * *

Как-то он захотел объяснить мне слово «l'Allemagne» * и стал барабанить ту простенькую стародавнюю мелодию, которую часто слышишь в базарные дни как аккомпанемент танцующим собакам, а именно дум-дум-дум**, я рассердился, но понял его. («Идеи — Книга *Le Grand*».)

* * *

Приставьте к нему немецкую кормилицу, чтобы он всасывал млеко терпения. («*Лютеция*».)

* * *

Нет народа более приверженного своим государям, чем немецкий, и невыносимейшим образом удручало немцев не столько печальное положение страны вследствие войны и чужеземного господства, сколько горестное зрелище их побеждённых государей, пресмыкающихся у ног Наполеона; весь народ напоминал тех старых верных слуг в барских домах, которых унижения, выпавшие на долю их господ, удручают глубже, чем самих господ, и которые втайне проливают горчайшие слёзы по поводу, например, распродажи хозяйского серебра и даже — как это достаточно трогательно изображается в старинных драмах — потихоньку тратят свои жалкие сбережения на то, чтобы на барском столе горели не мещанские сальные, а дворянские восковые свечи. («*Романтическая школа*».)

* * *

Лютер всколыхнул Германию, однако Франц Дрек вновь успокоил её: он дал ей картофель. («*Мысли и афоризмы*».)

* * *

В немецком партере сидят миролюбивые граждане и государственные чиновники, которые желали бы спокойно переваривать там свою кислую капусту, а повыше, в ложах, сидят голубоглазые дочери просвещённых сословий, прекрасные белокурые души, взявшие с собой в театр чулок, который они вяжут, или другое какое рукоделие и желающие в меру помечтать, так, чтобы при этом не спустилась ни одна петля.

* Германия (франц.).

** Совзучно с dumpt, что значит «глупо».

И все зрители обладают той немецкой добродетелью, которая всем нам дана от природы или воспитана в нас, — терпением. (*«О французской сцене».*)

* * *

Гёте — своим баюшки-баю, пьетисты — своим скучным молитвенным тоном, мистики — своим магнетизмом совершенно усыпили Германию, и всё кругом неподвижно лежало и спало. Но только тела были окованы сном; души, томившиеся в них, как в темнице, сохраняли странное сознание. Автор этих страниц, тогда ещё молодой человек, странствовал по немецким землям и созерцал спящих людей. Я видел страдания на их лицах, я изучал их физиономии, я прикладывал руку к их сердцу, и они, подобно лунатикам, начинали говорить во сне странные отрывистые речи, в которых раскрывались их затаённые мысли. Стражи народа, натянув на самые уши свои золотые ночные колпаки и плотно закутавшись в горностаевые шлафроки, восседали в красных бархатных креслах и тоже спали и даже храпели. И вот, странствуя с котомкой и палкой, я говорил или громко пел о том, что удавалось мне прочесть по лицам спящих людей или во вздохах их сердец. Вокруг меня стояла глубокая тишина, и я слышал только эхо моих собственных слов. (*«Французские дела».*)

«СВЕРХГЕРМАНСКНЕ ШУТЫ» БУДУТ РАЗДАВЛЕНЫ

Этих людей надо бить палками при жизни: ведь после смерти их нельзя наказывать, нельзя опозорить их имена, заклеить, обесчестить, — ибо от них не останется даже имени. (*«Мысли и афоризмы».*)

* * *

С немецким дворянством дело обстоит, однако, очень скверно. Ни одна конституция, даже самая лучшая, не в силах помочь нам, пока всё дворянство целиком не будет уничтожено в самом корне. (*«Французские дела».*)

* * *

Я человек самого мирного склада. Вот чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, молоко и масло, перед окном

очень свежие цветы, перед дверью несколько прекрасных деревьев, и, если господь захочет вполне осчастливить меня, он пошлёт мне радость — на этих деревьях будут повешены этак шесть или семь моих врагов. Сердечно растроганный, я прощу им перед их смертью все обиды, которые они мне нанесли при жизни. Да, надо прощать врагам своим, но только тогда, когда их повесят. (*«Мысли и афоризмы».*)

* * *

О тёмные люди! Они просветятся не прежде, чем сами повиснут на фонарях! Ослиные кишки хотел бы я натянуть вместо струн на лиру свою, чтобы достойно воспеть вас, стриженные глупые головы! (*«Город Лукка».*)

* * *

О чёрные плуты! И вы, дураки всех цветов! Кончайте своё дело, зажгите мозг народа отжившими суевериями, столкните его на путь фанатизма; вы сами когда-нибудь станете его жертвами; вы не избегнете участи неумелых колдунов, которые не смогли справиться с вызванными ими духами и были разорваны ими на куски. (*«Духи стихий».*)

* * *

Будьте спокойны и насчёт тех маленьких шутов, что иногда шутят с вами двусмысленные шутки. Большой шут охранит вас от малых. Большой шут — великий шут, он великан, и имя ему — немецкий народ.

О, это великий шут! Его пёстрый кафтан состоит из тринадцати шести заплат. Его дурацкий колпак вместо бубенчиков сплошь увешан многопудовыми церковными колоколами, и в руке он держит огромную железную палку. Но грудь его полна страданий. Только он не хочет думать об этих страданиях, и тем веселее откалывает он шутки, и порою он смеётся, чтобы не плакать. Если же страдания, пробуждаясь в памяти, становятся слишком жгучими, тогда он, как безумный, трясёт головой и сам себя оглушает христиански благолепным звоном своего колпака. Если его навещает добрый друг, который желает участливо поговорить с ним о его страданиях или даже советует ему какое-нибудь домашнее средство от них, тогда он приходит прямо в бешенство и бьёт его железной палкой. Вообще его приводит в бешенство всякий, кто желает ему добра. Он злейший враг своих друзей и лучший друг

своих врагов. О, величайший шут всегда останется верен и покорен вам; своими исполинскими дурачествами он всегда будет потешать ваших барчуков; он каждый день ради их забавы будет проделывать свои старые фокусы и балансировать на носу неисчислимыми тяжестями и позволять топтаться у себя на брюхе сотням тысяч солдат. Но неужели вам совсем не страшно, что когда-нибудь все эти тяжести станут ему невмоготу и что он стряхнёт с себя ваших солдат и, разыгравшись, вам самим придавит голову своим мизинцем так, что мозг ваш брызнет до самых звёзд. (*Предисловие к «Французским делам».*)

* * *

Сейчас в Германии националисты и всё мерзкое охвостье 1815 года ещё раз достигли власти и воют с разрешения господина бургомистра и других высоких властей страны. Что же, войте! День придёт, и роковая пята раздавит вас. С этой уверенностью я могу спокойно уйти из этого мира. (*Предисловие к французскому изданию «Лютеци».*)

* * *

Я говорю о партии так называемых представителей национальности в Германии, об этих фальшивых патриотах, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам и которые каждый день изрыгают свою жёлчь прежде всего на Францию. Да, к этим обломкам или потомкам тевтономанов 1815 года, которые только подновили свой старый костюм сверхгерманских шутов и немного укоротили себе уши, я всегда чувствовал ненависть и всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук — рук умирающего, я утешен сознанием, что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесёт им последний удар; и, конечно, не ударом палицы уничтожит их гигант, он просто раздавит их ногой, как давят жабу... (*Там же.*)

ПРИМЕЧАНИЯ

I

¹ **Оборотень** — подразумевается Пруссия; **старый содомит** — прусский король Фридрих II (1712—1786), кумир немецкой реакции.

² **Воспоминания о днях террора в Кривинкеле**. **Кривинкель** — вымышленный немецкий город, олицетворяет глупость и ограниченность немецкого бюргерства.

³ **Новый Александр**. Под Александром подразумевается прусский король Фридрих-Вильгельм IV. **Историческая школа** — школа права, возникшая в начале прошлого столетия. Представители исторической школы были политическими реакционерами и отражали взгляды дворянско-феодалных кругов, ратовавших за возвышение Пруссии.

⁴ **Песни хвалебные королю Лудвигу**. **Людвиг I** (1786—1868) — король Баварии, свергнутый во время революции 1848 г. Стремился превратить Мюнхен в «новые Афины», покровительствовал реакционному искусству. **Валгалльское братство** — построенная Людвигом галерея «героев немецкого народа», по преимуществу реакционных. **Тевт** — мифический родоначальник германских племён. **Шиндерганн** — герой разбойничьего романа. **Оттончик** — Оттон (1815—1867), сын Людвига I, греческий король, свергнутый в 1842 г. **Шеллинг** — немецкий философ, перешедший на сторону германской реакции. **Корнелиус** — немецкий художник, работавший в Мюнхене и в 1842 г. переехавший в Берлин по настоянию Фридриха-Вильгельма IV. **Масман** — немецкий философ, яростный реакционер и националист. **Цейнский** — Цейн — лингвист, историк немецкого языка. **Якобо-Гриммский**. **Якоб Гримм** — учёный лингвист и собиратель немецкого фольклора. **Шурин** — прусский король Фридрих-Вильгельм IV, женатый на сестре Людвига Баварского. **Рюккерт** — немецкий поэт, перевод-

чик арабской и персидской поэзии, реакционный романтик.

⁶ **Ганс Безземельный.** Сатира на эрцгерцога Иоанна Австрийского (1782—1859), которого в 1848 г. франкфуртский парламент провозгласил германским правителем. Ведь дома ещё на почтовом рожке играть ты постигла науку — намёк па то, что жена Иоанна, Анна Польш, была дочерью начальника почтовой станции.

⁶ **Король Длинноух I.** Сатира на законопослушных филистеров. Образ Короля Длинноуха обобщает характерные черты немецких правителей. Есть предположение, что сатира адресована Фридриху-Вильгельму IV. **Август** — римский император, при котором расцвели искусства. **Меценат** — римский богач, покровитель искусств. **Леманн** — знаменитый портретист. **Мейербер** — известный композитор. **Баярд** — легендарный конь, принадлежал четырём рыцарям — «сыновьям Эймона». **Готфрид Бульонский** (1058—1100) — один из руководителей первого крестового похода. **Город священный Давида** — Иерусалим. **Клио** — в греческой мифологии муза истории.

⁷ **Михель после Марта.** Стихотворение написано после поражения германской революции 1848 г. **Март** — в марте 1848 г. в Берлине началась революция. **Арндт, дядя Яп** — реакционеры и тевтономаны.

⁸ **К успокоению.** **Мартовы иды** — пятнадцатое марта по древнеримскому календарю. В этот день Брутом был убит Цезарь.

⁹ **Силезские ткачи.** Посвящено восстанию силезских ткачей в июле 1844 г.

II

¹⁰ **Германия** — написана в 1844 г., навеяна поездкой Гейне в Германию в 1843 г.

Прощание с Парижем.

Врач, живущий на Севере — намёк на Германию.

1-я глава.

Гигант, материнской коснувшись груди — Антей, герой древнегреческой легенды, сын земли. Приобретал непобедимую силу, как только прикасался к матери-земле.

2-я глава.

Гофман фон Фаллерслебен (1798—1874)— левобуржуазный поэт 40-х годов, впоследствии перешедший в лагерь реакции. Там о же ж н ы й союз — Прусский таможенный союз, учреждённый в 1834 г., экономически объединил Германию под гегемонией Пруссии. Гейне, отмечая прусское происхождение таможенного союза, обрушивается на связанное с ним усиление реакции в стране.

3-я глава.

Аахен — прусский город, некогда был столицей древнего германского императора Карла Великого (742 — 814). Карл Майер (1786—1870) — реакционный поэт швабской школы, националист и тевтономан. Неккар — правый приток Рейна. Штуккерт — швабское название Штутгарта. Кернер (1791—1813) — националистический поэт. Фухтель — тесак, которым наказывали в прусской армии солдат. Ты — он — старинное немецкое обращение к низшим не во втором, а в третьем лице. Новый костюм — новая, подражающая средневековой, военная форма, введённая королём Фридрихом-Вильгельмом IV. Иоанна де Монфоко — героиня пьесы Коцебу, действие которой происходит в средние века. Тик (1773—1853), Уланд (1787—1862) — немецкие писатели-романтики, воспевавшие средневековые нравы и обычаи. Ненавистная птица — орёл — прусский государственный герб. «Да здравствует король» — провозглашалось обычно в честь победителя на стрелковых состязаниях.

4-я глава.

Кельн — старинный город на Рейне. Тёмные люди — католические мракобесы, осмеянные в знаменитом памфлете XVI века «Письма тёмных людей». Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — виднейший гуманист, один из авторов «Писем тёмных людей». Гохстратен — один из главарей тёмных людей. Менцель (1793—1874) — немецкий реакционный критик, автор печатных выступлений-доносов на Гейне и передовых писателей Германии. Король — доморощенный гений — прусский король Фридрих-Вильгельм IV, ратовавший за скорейшую до-

стройку собора. Святые волхвы — «три восточных волхва» из евангельской легенды; их «прах» будто бы покоился в специальном саркофаге, установленном в Кёльнском соборе. Железные клетки на башне святого Ламберти — в этих клетках в 1536 г. были выставлены тела трёх революционных вождей Крестьянской войны в Германии.

5-я глава.

Я в Бибрихе наглotalся камней — намёк на склоку, происшедшую между двумя мелкими немецкими «государствами». Дармштадтское правительство, желая отвлечь к себе доходы от речной гавани правительства Гессен-Насау и не сумев договориться с противником, попыталось запрудить Рейн баржами с камнями, затопленными у Бибриха. Беккер (1809—1845) — поэт, выступивший в 1840 г., во время франко-германских дипломатических осложнений, с патриотическим стихотворением о Рейне, под заглавием «Они (французы) его не будут иметь». Альфред де Мюссе (1810—1857) — известный французский поэт, ответивший Беккеру стихотворением: «Нашим был он, ваш немецкий Рейн». Красные рейтузы — новая форма французских солдат, в отличие от прежней, наполеоновской формы (белые рейтузы). Кант (1724—1804), Фихте (1762—1814), Гегель (1770—1831) — крупнейшие философы-идеалисты Германии. Генстенберг — немецкий реакционер-богослов, современник Гейне.

6-я глава.

Паганини (1782—1840) — знаменитый скрипач. Джордж Гаррис — организатор концертов Паганини. Бонапарту являлся огненным муж. — Существовало предание, будто Наполеону в наиболее серьёзные минуты его жизни являлся «человек в красном». Ликтор — почётная стража и вместе с тем исполнители приговоров, выносившихся консулами — высшими должностными лицами в древнем Риме.

7-я глава.

Своею кровью загадочный знак — знаки такого рода делались в средние века в Германии тайным народным «судом Фемы» на домах знатных людей.

8-я глава.

Гаген — город в Вестфалии. Мюльгейм — город в Рейнской области. Императороднажды встал из земли — речь идёт о попытке Наполеона в 1815 г., после бегства с острова Эльбы, снова установить свою власть во Франции.

10-я глава.

Унна — город в Вестфалии. Гёттинген — университетский город в Германии, в котором учился Гейне.

11-я глава.

Тевтобургский лес. Здесь в 9 г. до н. э. вождь одного из древних германских племён (херусков) Арминий (Герман) разбил войска римского полководца Вара. Немецкие националисты всячески превозносят образ Арминия. Весталки — римские жрицы богини Весты, дававшие обет девственности. Квириты — граждане древнего Рима. Гаруспекс — древнеримский жрец, занимавшийся предсказаниями по внутренностям животных. Невандер (1789—1850) — профессор богословия в Берлине. Авгур — римский жрец, делавший предсказания по полёту птиц. Бирх-Пфейфер (1800—1868) — актриса, автор пошлых мешанских пьес. Раумер (1781—1873) — немецкий историк-либерал, над трусостью и угодничеством которого Г. Гейне неоднократно издевался. Фрейлиграт (1810—1876) — видный представитель политической поэзии во время революции 1848—1849 г. Папаша Ян (1778—1852) — организатор националистических гимнастических обществ. Неоднократно высмеивался Г. Гейне. На тридцать шесть владык — намёк на тридцать шесть государств, из которых состояла в то время Германия. Сенека (3 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский философ-стоик и драматург; воспитатель Нерона. Был приговорён к смерти по обвинению в заговоре против Нерона. Кончил жизнь самоубийством.

12-я глава.

Волки — поэт подразумевает здесь революционеров, не знающих колебаний. Кольб (1798—1865) — редактор аугсбургской «Всеобщей газеты»,

вачастую, по цензурным причинам, искажавший парижские корреспонденции Гейне.

13-я глава.

П а д е б о р н — местность в Вестфалии.

14-я глава.

О т т и л и я — героиня одной из народных немецких песен. Погибая от руки убийцы, призывала солнце отомстить за неё. М ю н с т е р — главный город Вестфалии. Р о т б а р т — красная борода — немецкое прозвище германского императора Фридриха I Барбароссы (1152—1190). Фридрих I погиб во время крестового похода в Палестину. По народному преданию, Барбаросса не погиб, а укрылся в горе Кнфгайзер и только ждёт положенного часа, чтобы выйти и освободить немецкий народ. Г. Гейне, сам занимавшийся ранее (в 1834 г. в «Духах стихий») поэтизацией легенды о Барбароссе-освободителе, уже в 1840 г., в книге «Людвиг Берне», подверг эту легенду жестокой критике: «Нет, не император Барбаросса освободит Германию, как думает народ, немецкий народ, сонливый, грезящий народ, который и своего мессию не может представить себе иначе как в образе старого сонливца».

16-я глава.

С е м и л е т н я я война (1756—1763) — война Пруссии и Англии против Австрии, России, Франции, Швеции и Испании. М о и с е й М е н д е л ь с о н (1729—1786) — немецкий буржуазный философ-просветитель XVIII века. К а р ш и н (1723—1791) — второразрядная поэтесса XVIII века. Ф е л и к с М е н д е л ь с о н - Б а р т о л ь д и (1809—1847) — сын Авраама и Лии и внук Моисея Мендельсона. Композитор. Был близок к придворным сферам. После того как принял христианство, весьма стеснялся своего еврейского происхождения, что и высмеивается поэтом. К л е н к е (1754—1812) — дочь Каршин, заурядная поэтесса. Г е л ь м п н а Ч е з и (1783—1856) — внучка Каршин, бездарная романтическая писательница. Неустанно искала покровительства при княжеских дворах. Д ю б а р р и (1746—1793) — фаворитка французского короля Людовика XV; была казнена во время первой французской буржуазной революции. Л ю д о в и к Ш е с т н а д ц а т ы й (1754—1793) — французский король; был каз-

ённ в Париже в 1793 г., во время французской буржуазной революции. Королева Антуанетта (1755—1793) — Мария Антуанетта, жена Людовика XVI. Также была казнена по приговору Конвента. Гильотен (1738—1814) — французский врач, изобрёл применявшееся во время французской революции 1789 г. орудие казни, названное по его имени — гильотиной. Чёрному с красным и золотым стягу — цвета немецких националистических студенческих союзов — буршеншафтов, организовавшихся после войны против Наполеона.

17-я глава.

Карл — император Карл IV (1519—1556). Издал в 1532 г. исключительно суровый уголовный кодекс.

18-я глава.

Минден — крепость в Вестфалии. Никто — так называл себя Одиссей в разговоре с Полифемом. К чёрной отвесной скале прикован был цепями — здесь Г. Гейне сопоставляет себя с Прометеем, героем древнегреческой легенды, который похитил у богов огонь и передал его людям; за это Прометей был, по приказанию Зевса, прикован к скале. На Бюкебургской земле — Бюкебург — ничтожное по размерам немецкое «государство».

19-я глава.

Ганновер — крупный немецкий город, в ту пору столица королевства Ганновер. Эрнест-Август (1771—1851) — ганноверский король, в прошлом — член английской реакционной партии тори; отличался крайней реакционностью.

20-я глава.

Гарбург — небольшой город вблизи Гамбурга.

21-я глава.

Полусгоревший город наш — в 1842 г. в Гамбурге был большой пожар. Где дом, в котором я познал запретный плод поцелуя — дом дяди Соломона Гейне, в дочь которого, Амалию, Гейне в юности был влюблён. Картины путевые — «Путевые картины» Г. Гейне, впервые

печатавшиеся в Гамбурге. *Дрекваль* — в дословном переводе означает «грязный вал» — улица в Гамбурге. Та птица, что яйцо снесла в парик бургомистра — под птицей подразумевается прусский орёл, презрительно прозванный в ряде местностей Германии «кукушкой». Гейне намекает здесь на посланное прусскими властями гамбургскому бургомистру приглашение вступить в созданный Пруссией таможенный союз.

22-я глава.

Старуха Гудель — издевка над одной из гамбургских дам. *Бибер* — обанкротившийся после пожара директор страхового общества в Гамбурге. *Старый цензор — Гофман (1790—1861)* — гамбургский цензор. *Гумпелино* — гамбургский банкир Гумпель, осмеянный поэтом ещё в «Путевых картинах». *Кривой Адонис* — гамбургский антиквар Исаак Майер. *Мейер — Генрих Мейер (1788—1859)*, гамбургский театральный критик. *Корнет (1794—1860)* — директор гамбургского театра. *Кампе (1792—1857)* — известный гамбургский издатель, печатавший сочинения Гейне за крайне незначительный гонорар.

23-я глава.

Как республика, Гамбург спорить не мог с Венецией. Венеция в XII—XVI веках была одной из наиболее цветущих и культурных республик Италии. Гамбург, числившийся «вольным городом», ни в каком отношении не мог выдержать сравнения с Венецианской республикой. *Шофье (1801—1856)* — гамбургский врач. *Вилле* — гамбургский журналист. *Фукс (1812—1856)* — учитель гимназии в Гамбурге, любитель пофилософствовать. *Канова (1757—1822)* — итальянский скульптор, подражал античным образцам. *Амфитрион* — герой древнегреческой мифологии. После комедии Мольера «Амфитрион» стал нарицательным именем гостеприимного хозяина. *Дрейбан* — гамбургская улица, населённая проститутками. *Гаммония* — богиня, покровительница города Гамбурга.

24-я глава.

Певец, который мессию воспел — Клопшток (1724—1803), видный немецкий писатель XVIII века, один из зачинателей буржуазной литературы в Германии. Националистические круги усиленно эксплуатировали слабые, исторически отжившие стороны его творчества (особенно его религиозную поэму «Мессиада»). Д а м м т о р — квартал, где жила мать Гейне. Л о т х е н — Шарлотта Эмбден, сестра поэта. С т а р ы й с е д о й г о с п о д и н — Соломон Гейне, дядя поэта. Денежной субсидией дяди Соломона поэт пользовался всю свою жизнь. В связи с этим отношения между грубым и деспотичным дядей и вечно нуждавшимся в деньгах поэтом были далеко не так идилличны, как это рисует здесь Г. Гейне.

25-я глава.

С и л ь ф и д ы — в средневековых легендах — духи воздуха. Здесь — в смысле: женщины лёгкого поведения. Ч ё р н ы й ц а р ь Ф р е й л и г р а т а — намёк на стихотворение Фрейлиграта «Мавританский князь», осмеянное Гейне ещё в «Атта Тролле».

26-я глава.

Т р и д ц а т ь ш е с т ь к л о а к — очередной намёк на тридцать шесть немецких «отечеств». С е н Ж ю с т (1767—1794) — один из вождей Французской буржуазной революции, член революционного Комитета общественного спасения. Е с т ь в Ф у л е к о р о л ь — пародия на песенку Гретхен в «Фаусте» Гёте. Под Фуле Гейне подразумевает здесь Берлин, под фульским королём — прусского короля Фридриха-Вильгельма IV.

27-я глава.

К а м е н ы, или музы — богини искусства греческой мифологии. Б а з и л е я и П а й с т е т е р о с — герои «Птиц», комедии Аристофана.

III

¹¹ Бульвар Монмартр — в Париже.

¹² Здесь же, в Вартбурге... — в 1816 г. в Вартбурге происходило празднество, устроенное в

память Лютера, переведшего Библию на немецкий язык. «Старогерманцы» использовали это празднество для реакционных и шовинистических выступлений.

¹³ М а с м а н — деятель национально-феодальной реакции. Принимал активное участие в создании гимнастических обществ, воспитывавших немецкую молодёжь в шовинистическом духе.

¹⁴ И о г а н н а д е М о н ф о к о н — героиня пьесы из эпохи средневековья, написанной современником Гейне, мещанским драматургом А. Коцебу.

¹⁵ Г е р р е с Якоб-Иосиф (1776—1848) — немецкий писатель, философ, публицист. В молодости либерал, впоследствии резко повернул к национализму. Издавал реакционный журнал «Рейнский Меркурий».

¹⁶ Ш л е м М а м б р и н а — цырюльничий таз, который Дон-Кихот надевал себе на голову.

¹⁷ Т у с н е л ь д а — жена древнегерманского вождя Арминия.

¹⁸ Т и р ш — немецкий лингвист, автор «Греческой грамматики».

¹⁹ Л и х т е н ш т е й н — немецкий естествоиспытатель, основатель зоологического сада в Берлине.

²⁰ Б о р у с с к о е г о с у д а р с т в о — латинизированное название Пруссии, принятое националистическими и реакционными учёными.

²¹ К а р л, г е р ц о г Б р а у н ш в е й г с к и й (1804—1873) — известен своей жестокостью и распутством. В 1830 г. был изгнан из страны.

²² Ф е й з е К а р л - Э д у а р д (1802—1870) — историк, автор «Истории немецкого двора со времён Реставрации».

²³ М а д а м д е С т а л ь — французская писательница, автор книги о Германии.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Л. М. Металлов — Предисловие	3
--	---

I

Оборотень. <i>Перев. Л. Пеньковского</i>	7
Воспоминания о днях террора в Кривинкеле. <i>Перев. Ю. Тынянова</i>	7
Из набросков и «Атта Троллю». <i>Перев. В. Левика</i>	8
Новый Александр. <i>Перев. В. Левика</i>	9
Песни хвалебные королю Лудвигу. <i>Перев. Ю. Тынянова</i>	12
Ганс Безземельный. <i>Перев.</i>	15
Ослы-избиратели. <i>Перев. Ю. Тынянова</i>	17
Король Длинноух I. <i>Перев. М. Усовой</i>	19
Михель после Марта. <i>Перев. В. Левика</i>	22
К успокоению. <i>Перев. Ю. Тынянова</i>	23
Силевские тачи. <i>Перев. Л. Пеньковского</i>	24

II

Германия (Зимняя сказка). <i>Перев. В. Левика</i>	26
---	----

III

Прозаические отрывки	86
Примечания	105

Редактор В. Сучнов

•

Подписано и печати 25/IV 1944 г.
А-7846. Тираж 25000 экз.
3¹/₂ печ. л. 5,88 уч.-авт. л.
Зак. № 173. Цена 4 руб.

•

1-я Образцовая типография
Огиза при СНК РСФСР, треста
«Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

4 руб .

11

77